



# Стихотворения





## СТИХОТВОРЕНИЯ 1912—1917 ГОДОВ

### Ночь

Багровый и белый отброшен и скомкан,  
в зеленый бросали горстями дукаты,  
а черным ладоням сбежавшихся окон  
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно  
увидеть на зданиях синие тоги.  
И раньше бегущим, как желтые раны,  
огни обручали браслетами ноги.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка —  
плыла, изгибаясь, дверями влекома;  
каждый хотел протащить хоть немножко  
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платя зовущие лапы,  
в глаза им улыбку протиснул; пугая  
ударами в жезл, хохотали арапы,  
над лбом расцветивши крыло попугая.

[1912]

### УТРО

Угрюмый дождь скосил глаза.  
А за  
решеткой  
четкой  
железной мысли проводов —  
перина.  
И на  
нее  
встающих звезд  
легко оперлись ноги.  
Но ги-  
бель фонарей,  
царей  
в короне газа,  
для глаза

сделала больней  
 враждующий букет бульварных проституток.  
 И жуток  
 шуток  
 клюющий смех —  
 из желтых  
 ядовитых роз  
 возрос  
 зигзагом.  
 За гам  
 и жуть  
 взглянуть  
 отрадно глазу:  
 раба  
 крестов  
 страдающе-спокойно-безразличных,  
 гроба  
 домов  
 публичных  
 восток бросал в одну пылающую вазу.

[1912]

## ПОРТ

Простыни вод под брюхом были.  
 Их рвал на волны белый зуб.  
 Был вой трубы — как будто лили  
 любовь и похоть медью труб.  
 Прижались лодки в люльках входов  
 к сосцам железных матерей.  
 В ушах оглохших пароходов  
 горели серьги якорей.

[1912]

## УЛИЧНОЕ

В шатрах, истертых ликом цвель где,  
 из ран лотков сочилась клюква,  
 а сквозь меня на лунном сельде  
 скакала крашенная буква.

Вбиваю гудко шага сваи,  
 бросаю в бубны улиц дробь я.  
 Ходьбой усталые трамваи  
 скрестили блещущие копы.

Подняв рукой единый глаз,  
 кривая площадь кралась близко.  
 Смотрело небо в белый газ  
 лицом безглазым василиска.

[1913]

## ИЗ УЛИЦЫ В УЛИЦУ

У-  
лица.  
Лица  
у  
догов  
годов  
рез-  
че.  
Че-  
рез  
железных коней  
с окон бегущих домов  
прыгнули первые кубы.  
Лебеди шей колокольных,  
гнитесь в силках проводов!  
В небе жирафий рисунок готов  
выпестрить ржавые чубы.  
Пестр, как форель,  
сын  
безузорной пашни.  
Фокусник  
рельсы  
тянет из пасти трамвая,  
скрыт циферблатами башни.  
Мы завоеваны!  
Ванны.  
Души.  
Лифт.

Лиф души расстегнули,  
Тело жгут руки.  
Кричи, не кричи:  
«Я не хотела!» —  
резок  
жгут  
муки.  
Ветер колючий  
трубе  
вырывает  
дымчатой шерсти клок.  
Лысый фонарь  
сладострастно снимает  
с улицы  
черный чулок.

[1913]

А ВЫ МОГЛИ БЫ?  
Я сразу смазал карту будня,  
плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня  
косые скулы океана.  
На чешуе жестяной рыбы  
прочел я зовы новых губ.  
А вы  
ноктюрн сыграть  
могли бы  
на флейте водосточных труб?

[1913]

### ВЫВЕСКАМ

Читайте железные книги!  
Под флейту золоченой буквы  
полезут копченые сиги  
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песней  
закружат созвездия «Магги» —  
бюро похоронных процессий  
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,  
загасит фонарные знаки,  
влюбляйтесь под небом харчевен  
в фаянсовых чайников маки!

[1913]

### ТЕАТРЫ

Рассказ о взлезших на подмосток  
аршинной буквою графишь,  
и заывают в вечер с досок  
зрачки малеванных афиш.

Автомобиль подкрасил губы  
у блеклой женщины Карьера,  
а с прилетавших рвали шубы  
два огневые фокстерьера.

И лишь светящаяся груша  
о тень сломала копыя драки,  
на ветке лож с цветами плюша  
повисли тягостные фраки.

[1913]

### КОЕ-ЧТО ПРО ПЕТЕРБУРГ

Слезают слезы с крыши в трубы,  
к руке реки чертя полоски;  
а в неба свисшиеся губы  
воткнули каменные соски.

И небу — стихши — ясно стало:  
туда, где моря блещет блюдо,  
сырой погонщик гнал устало  
Невы двугорбого верблюда.

[1913]

### ЗА ЖЕНЩИНОЙ

Раздвинув локтем тумана дрожи,  
цедил белила из черной фляжки  
и, бросив в небо косые вожжи,  
качался в тучах, седой и тяжкий.

В расплаве меди домов полуда,  
дрожанья улиц едва хранимы,  
дразнимы красным покровом блуда,  
рогами в небо вонзались дымы.

Вулканы-бедрa за льдами платий,  
колосья грудей для жатвы спелы.  
От тротуаров с ужимкой татьей  
ревниво взвились тупые стрелы.

Вспугнув копытом молитвы высей,  
арканом в небе поймали бога  
и, ошипавши с улыбкой крысьей,  
глумясь, тащили сквозь щель порога.

Восток заметил их в переулке,  
гримасу неба отбросил выше  
и, выдрав солнце из черной сумки,  
ударил с злобой по ребрам крыши.

[1913]

### Я

По мостовой  
моей души изъезженной  
шаги помешанных  
вьют жестких фраз пяты.  
Где города  
повешены  
и в петле облака  
застыли  
башен  
кривые выи —  
иду  
один рыдать,  
что перекрестком  
распяты  
городовые.

[1913]



*НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ ЖЕНЕ*

Морей неведомых далеким пляжем  
 идет луна —  
 жена моя.  
 Моя любовница рыжеволосая.  
 За экипажем  
 крикливо тянется толпа созвездий пестрополося.  
 Венчается автомобильным гаражем,  
 целуется газетными кносками,  
 а шлейфа млечный путь моргающим пажем  
 украшен мишурными блестками.  
 А я?  
 Несло же, палимому, бровей коромысло  
 из глаз колодцев студеные ведра.  
 В шелках озерных ты висла,  
 янтарной скрипкой пели бедра?  
 В края, где злоба крыш,  
 не кинешь блестящей лесни.  
 В бульварах я тону, тоской песков оваян:  
 ведь это ж дочь твоя —  
 моя песня  
 в чулке ажурном  
 у кофеен!

[1913]

*НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ МАМЕ*

У меня есть мама на васильковых обоях.  
 А я гуляю в пестрых павах,  
 вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.  
 Заиграет вечер на гобоях ржавых,  
 подхожу к окошку,  
 веря,  
 что увижу опять  
 севшую  
 на дом  
 тучу.  
 А у мамы больной  
 пробегает народа шорохи  
 от кровати до угла пустого.  
 Мама знает —  
 это мысли сумасшедшей ворохи  
 вылезают из-за крыш завода Шустова.  
 И когда мой лоб, венчаный шляпой фетровой,  
 окровавит гаснущая рама,  
 я скажу,  
 раздвинув басом ветра вой:  
 «Мама.  
 Если станет жалко мне

вазы вашей муки,  
сбитой кабдуками облачного танца, —  
кто же изласкает золотые руки,  
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

[1913]

*НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБО МНЕ САМОМ*

Я люблю смотреть, как умирают дети.  
Вы прибой смеха мгlistый вал заметили  
за тоски хоботом?  
А я —  
в читальне улиц —  
так часто перелистывал грóба том.  
Полночь  
промокшими пальцами щупала  
меня  
и забитый забор,  
и с каплями ливня на лысине купола  
скакал сумасшедший собор.  
Я вижу, Христос из иконы бежал,  
хитона оветренный край  
целовала, плача, слякоть.  
Кричу кирпичу,  
слов исступленных вонзаю кинжал  
в неба распухшего мякоть:  
«Солнце!  
Отец мой!  
Сжался хоть ты и не мучай!  
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дальней.  
Это душа моя  
клочьями порванной тучи  
в выжженном небе  
на ржавом кресте колокольни!

Время!  
Хоть ты, хромой богомаз,  
лик намалюй мой  
в божницу уродца века!  
Я одинок, как последний глаз  
у идущего к слепым человека!»

[1913]

*ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ КАРТИНА ВЕСНЫ*

Листочки.  
После строчек лис —  
точки.

[1913]

## ОТ УСТАЛОСТИ

Земля!

Дай исцелую твою лысеющую голову  
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.  
Дымом волос над пожарами глаз из олова  
дай обовью я впалые груди болот.  
Ты! Нас — двое,  
ораненных, загнанных ланями,  
вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.  
Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,  
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.  
Сестра моя!  
В богадельнях идущих веков,  
может быть, мать мне сыщется;  
бросил я ей окровавленный песнями рог.  
Квакая, скачет по полю  
канава, зеленая сыщица,  
нас заневолить  
веревками грязных дорог.

[1913]

## ЛЮБОВЬ

Девушка пугливо куталась в болото,  
ширились зловеще лягушечьи мотивы,  
в рельсах колебался рыжеватый кто-то,  
и укорно в буклях проходили локомотивы.

В облачные пары сквозь солнечный угар  
врезалось бешенство ветряной мазурки,  
и вот я — озноенный июльский тротуар,  
а женщина поцелуи бросает — окурки!

Бросьте города, глупые люди!  
Идите голые лить на солнцепеке  
пьяные вина в меха-грудь,  
дождь-поцелуи в угли-щеки.

[1913]

## МЫ

Лезем земле под ресницами вылезших пальм  
выколоть бельма пустынь,  
на ссохшихся губах каналов —  
дредноутов улыбки поймать.  
Стынь, злоба!  
На костер разожженных созвездий  
взвесь не позволю мою одичавшую дряхлую мать.  
Дорога — рог ада — пьяни грузовозов храпы!  
Дымящиеся ноздри вулканов хмелем расширь!  
Перья линияющих ангелов бросим любимым на шляпы,  
будем хвосты на боа обрубить у комет, ковыляющих в ширь.

[1913]

## ШУМИКИ, ШУМЫ И ШУМИЦЫ

По эхам города проносят шумы  
на шепоте подошв и на громах колес,  
а люди и лошади — это только грумы,  
следящие линии убегающих кос.

Пронесят девоньки крохотные шумики.  
Ящички гула пронесет грузовоз.  
Рысак прошуршит в сетчатой тунике.  
Трамвай расплещет перекаты гроз.

Все на площадь сквозь туннели пассажей  
плывут каналами перекрещенных дум,  
где мордой перекошенный, размалеванный сажей  
на царство базаров коронован шум.

[1913]

## АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбили  
на крохотные, сосущие светом адки.  
Рыжие дьяволы, вздымались автомобилл,  
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —  
сбитый старикашка шарил очки  
и заплакал, когда в вечереющем смерче  
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда  
и железо поездов громоздило лаз —  
крикнул аэроплан и упал туда,  
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —  
ночь излюбилась, похабна и пьяна,  
а за солнцами улиц где-то ковыляла  
никому не нужная, дряблая луна.

[1913]

## НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулок  
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,  
а я вам открыл столько стихов шкатулок,  
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста  
где-то недокушанных, недоеденных шей;  
вот вы, женщина, на вас белила густо,  
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца  
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.  
Толпа озверев, будет тереться,  
ощетинит ножки стоголавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,  
кривляться перед вами не захочется — и вот  
я захохочу и радостно плюну,  
плюну в лицо вам  
я — бесценных слов транжир и мот.

[1913]

### НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:  
«Будьте добры, причешите мне уши».  
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,  
лицо вытянулось, как у груши.  
«Сумасшедший!  
Рыжий!» —  
запрыгали слова.  
Ругань металась от писка до писка,  
и до-о-о-о-лго  
хихикала чья-то голова,  
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

[1913]

### В АВТО

«Какая очаровательная ночь!»  
«Эта,  
(указывает на девушку),  
что была вчера,  
та?»  
Выговорили на тротуаре  
«поч-  
перекинулось на шины  
та».  
Город вывернулся вврут.  
Пьяный на шляпы полез.  
Вывески разинули испуг.  
Выплесывали  
то «О»,  
то «S».  
А на горе,  
где плакало темно  
и город  
робкий прилез,  
поверилось:  
обрюзгло «О»  
и гадко покорное «S».

[1913]

## КОФТА ФАТА

Я сошью себе черные штаны  
из бархата голоса моего.  
Желтую кофту из трех аршин заката.  
По Невскому мира, по лощеным полосам его,  
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:  
«Ты зеленые весны идешь насиловать!»  
Я брошу солнцу, нагло ослабившись:  
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

Не потому ли, что небо голубо́,  
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,  
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,  
и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта  
девушка, смотрящая на меня, как на брата,  
закидайте улыбками меня, поэта, —  
я цветами нашью их мне на кофту фата!

[1914]

## ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!  
Ведь, если звезды зажигают —  
значит — это кому-нибудь нужно?  
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?  
Значит — кто-то называет эти плевóчки жемчужиной?  
И, надрываясь  
в метелях полúденной пыли,  
врывается к богу,  
бонится, что опоздал,  
плачет,  
целует ему жилистую руку,  
просит —  
чтоб обязательно была звезда! —  
клянется —  
не перенесет эту беззвездную му́ку!  
А после  
ходит тревожный,  
но спокойный наружно.  
Говорит кому-то:  
«Ведь теперь тебе ничего?  
Не страшно?  
Да?!»  
Послушайте!  
Ведь, если звезды  
зажигают —  
значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — это необходимо,  
чтобы каждый вечер  
над крышами  
загоралась хоть одна звезда?!

[1914]

### А ВСЕ-ТАКИ

Улица провалилась, как нос сифилитика.  
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.  
Отбросив белье до последнего листика,  
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,  
выжженный квартал  
надел на голову, как рыжий парик.  
Людам страшно — у меня изо рта  
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,  
как пророку, цветами устелят мне след.  
Все эти, провалившиеся носами, знают:  
я — ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!  
Меня одного сквозь горящие здания  
проститутки, как святыню, на руках понесут  
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!  
Не слова — судороги, слипшиеся комом;  
и побежит по небу с моими стихами под мышкой  
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

[1914]

### ЕЩЕ ПЕТЕРБУРГ

В ушах обрывки теплого бала,  
а с севера — снега седей —  
туман, с кровожадным лицом каннибала,  
жевал невкусных людей.

Часы нависали, как грубая брань,  
за пятым навис шестой.  
А с неба смотрела какая-то дрянь  
величественно, как Лев Толстой.

[1914]

### ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!  
Италия! Германия! Австрия!»  
И на площадь, мрачно очерченную чернью,  
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,  
зверьим криком багрима:  
«Отравим кровью игры Рейна!  
Громáми ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,  
слёзы звезд просеивались, как мука́ в сите,  
и подошвами сжатая жалость визжала:  
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе  
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»  
Прощающейся конницы поцелуй цокали,  
и пехоте хотелось к убийце — победе.

Громоздящемуся городу урёдился во сне  
хохочущий голос пушечного баса,  
а с запада падает красный снег  
сочными клочьями человеческого мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,  
у зящейся на лбу вздуваются вены.  
«Постойте, шашки о шелк кокоток  
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!  
Италия! Германия! Австрия!»  
А из ночи, мрачно очерченной чернью,  
багровой крови лилась и лилась струя.

*20 июля 1914 г.*

## МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По черным улицам белые матери  
судорожно простерлись, как по гробу глаз.  
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:  
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!  
Дым.  
Дым.  
Дым еще!  
Что вы мямлите, мама, мне?  
Видите —  
весь воздух вымощен  
громыхающим под ядрами камнем!  
Ма-а-а-ма!  
Сейчас притащили израненный вечер.  
Крепился долго,  
кургузый,  
шершавый,



и вдруг, —  
 надломивши тучные плечи,  
 расплакался, бедный, на шее Варшавы.  
 Звезды в платочках из синего ситца  
 визжали:  
 «Убит,  
 дорогой,  
 дорогой мой!»

И глаз новолуния страшно косится  
 на мертвый кулак с зажатой обоймой.  
 Сбежались смотреть литовские села,  
 как, поцелуем в обрубок вкована,  
 слезя золотые глаза костелов,  
 пальцы улиц ломала Ковна.  
 А вечер кричит,  
 безногий,  
 безрукий:  
 «Неправда,  
 я еще могу-с —  
 хе! —  
 выбрядав шпоры в горячей мазурке,  
 выкрутить русский ус!»

Звонок.

Что вы,  
 мама?  
 Белая, белая, как на гробе газет.  
 «Оставьте!  
 О нем это,  
 об убитом, телеграмма.  
 Ах, закройте,  
 закройте глаза газет!»

[1914]

## СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,  
 и вдруг разревелась  
 так по-детски,  
 что барабан не выдержал:  
 «Хорошо, хорошо, хорошо!»  
 А сам устал,  
 не дослушал скрипкиной речи,  
 пшмыгнул на горящий Кузнецкий  
 и ушел.  
 Оркестр чужо смотрел, как  
 выплакивалась скрипка  
 без слов,  
 без такта,  
 и только где-то

глупая тарелка  
 вылязгивала:  
 «Что это?»  
 «Как это?»  
 А когда геликон —  
 меднорожий,  
 потный,  
 крикнул:  
 «Дура,  
 плакса,  
 вытри!» —  
 я встал,  
 шатаясь полез через ноты,  
 зачем-то крикнул:  
 «Боже!»,  
 Бросился на деревянную шею:  
 «Знаете что, скрипка?»  
 Мы ужасно похожи:  
 я вот тоже  
 ору —  
 а доказать ничего не умею!»  
 Музыканты смеются:  
 «Влип как!  
 Пришел к деревянной невесте!  
 Голова!»  
 А мне — наплевать!  
 Я — хороший.  
 «Знаете что, скрипка?»  
 Давайте —  
 будем жить вместе!  
 А?»

[1914]

### МЫСЛИ В ПРИЗЫВ

Войне ли думать:  
 «Некрасиво в шраме»?  
 Ей ли жалеть  
 городов гиль?  
 Как хороший игрок,  
 раскидала шарами  
 смерть черепа  
 в лузы могил.

Горит материк.  
 Страны — на нет.  
 Прилизанная  
 треплется мира челка.  
 Слышите?  
 Хорошо?  
 Почистище кастаньет.  
 Это вам не на счетах щелкать.

А мне не жалко.  
Лица не выгрущу.  
Пусть  
из нежного  
делают казака́.  
Посланный  
на выучку новому игрищу,  
вернется  
облеченный в новый закал.

Была душа поэтами рыта.  
Сияющий говорит о любом.  
Сердце —  
с длинноволосыми открыток  
благороднейший альбом.

А теперь  
попробуй.  
Сунь ему «Анатэм».  
В норах мистики вели ему мышиться.  
Теперь  
у него  
душа канатом,  
и хоть гвоздь вбивай ей —  
каждая мышца.

Ему ли  
ныть  
в квартирной яме?  
А такая  
нравится манера вам:  
нежность  
из памяти  
вырвать с корнями,  
головы скрутить орущим нервам.

Туда!  
В мировую кузню,  
в ремонт.  
Вернетесь.  
О новой поведаю Спарте я.  
А слабым  
смерть,  
маркер времен,  
ори:  
«Партия!»

[1914]

## Я и НАПОЛЕОН

Я живу на Большой Пресне,  
36, 24.  
Место спокойненькое.

Тихонькое.  
 Ну?  
 Кажется — какое мне дело,  
 что где-то  
 в буре-мире  
 взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.  
 Хорошая.  
 Вкрадчивая.  
 И чего это барышни некоторые  
 дрожат, пугливо поворачивая  
 глаза громадные, как прожекторы?  
 Уличные толпы к небесной влаге  
 припали горящими устами,  
 а город, вытрепав ручонки-флаги,  
 молится и молится красными крестами.  
 Простоволодая церковка бульварному изголовью  
 припала, — набитый слезами куль, —  
 а у бульвара цветники истекают кровью,  
 как сердце, изодранное пальцами пуля.  
 Тревога жиреет и жиреет,  
 жрет зачерствевший разум.  
 Уже у Ноева оранжереи  
 покрылись смертельно-бледным газом!

Скажите Москве —  
 пускай удержится!  
 Не надо!  
 Пусть не трясется!  
 Через секунду  
 встречу я  
 неб самодержца, —  
 возьму и убью солнце!  
 Видите!  
 Флаги по небу полощут.  
 Вот он!  
 Жирен и рыж.

Красным копытом грохнув о площадь,  
 въезжает по трупам крыш!

Тебе,  
 орущему:  
 «Разрушу,  
 разрушу!»,  
 вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,  
 я,  
 сохранивший бесстрашную душу,  
 бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,  
 сложите в костер лица!  
 Все равно!

Это нам последнее солнце —  
солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.  
Сегодня я — Наполеон!  
Я полководец и больше.  
Сравните:  
я и — он!

Он раз чуме приблизился треном,  
смелостью смерть поправ, —  
я каждый день иду к зачумленным  
по тысячам русских Яфф!

Он раз, не дрогнув, стал под пули  
и славится столетий сто, —  
а я прошел в одном лишь июле  
тысячу Аркольских мостов!  
Мой крик в граните времени выбит,  
и будет гремять и гремит,  
оттого, что  
в сердце, выжженном, как Египет,  
есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!  
Выше!  
В костер лица!  
Здравствуй,  
мое предсмертное солнце,  
солнце Аустерлица!

Люди!  
Будет!  
На солнце!  
Прямо!  
Солнце съжится аж!  
Громче из сжатого горла храма  
хрипи, похоронный марш!  
Люди!  
Когда канонизируете имена  
погибших,  
меня известней, —  
помните:  
еще одного убила война —  
поэта с Большой Пресни!

1915

## ВАМ!

Вам, проживающим за оргией оргию,  
имеющим ванную и теплый клозет!  
Как вам не стыдно о представленных к Георгию  
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,  
думающие, нажраться лучше как, —  
может быть, сейчас бомбой ноги  
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,  
вдруг увидел, израненный,  
как вы измазанной в котлете губой  
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,  
жизнь отдавать в угоду?!  
Я лучше в баре ...<sup>1</sup> буду  
подавать ананасную воду!

[1915]

### ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане,  
трудом выгребая галеру,  
рыком покрыв кандалное ржанье,  
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,  
где птицы, танцы, бабы  
и где над венцами цветов померанца  
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей гряда!  
Вино в запечатанной посуде...  
Но вот, неизвестно зачем и откуда  
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок  
кругом обложили статьями.  
Глаза у судьи — пара жестянок  
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий  
под глаз его строгий, как пост, —  
и вылинял моментально павлиний  
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии  
птички такие — колибри;  
судья поймал и пух и перья  
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне  
гор, вулканом горящих.  
Судья написал на каждой долине:  
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже  
в запрете под страхом пыток.

<sup>1</sup> Слово на букву «б» во множественном числе.

Судья сказал: «Те, что в продаже,  
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандалных звонов.  
А в Перу беспитичье, безлюдье...  
Лишь, злобно забившись под своды законов,  
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.  
Зря ему дали галеру.  
Судьи мешают и птице, и танцу,  
и мне, и вам, и Перу.

[1915]

### ГИМН УЧЕНОМУ

Народонаселение всей империи —  
люди, птицы, сороконожки,  
ощетинив щетину, выперев перья,  
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,  
даже заинтересовало трубочиста черного  
удивительное, необыкновенное зрелище —  
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.  
Не человек, а двуногое бессилие,  
с головой, откусанной начисто  
трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза, —  
ах, как букву жалко!  
Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр  
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,  
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?  
Он знает отлично написанное у Дарвина,  
что мы — лишь потомки обезьяны.

Просочится солнце в крохотную щелку,  
как маленькая гноящаяся ранка,  
и спрячется на пыльную полку,  
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в моде.  
Окаменелый обломок позпрошлого лета.  
И еще на булавке что-то вроде  
засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки  
опять ослабилось на людские безобразия,  
и внизу по тротуарам опять приготовишки  
деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,  
 что растёт человек глуп и покорен;  
 ведь зато он может ежесекундно  
 извлекать квадратный корень.

[1915]

### ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится  
 с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,  
 к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,  
 благодушью миноносьему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,  
 впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:  
 «Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,  
 а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему  
 по ребру по миноносьему.

Плач и вой морями носится:  
 овдовела миноносица.

И чего это несносен нам  
 мир в семействе миноносином?

[1915]

### ГИМН ЗДОРОВЬЮ

Среди тонконогих, жидких кровью,  
 трудом поворачивая шею бычью,  
 на сытый праздник тучному здоровью  
 людей из мяса я зычно кличу!

Чтоб бешеной пляской землю овить,  
 скучную, как банка консервов,  
 давайте весенних бабочек ловить  
 сетью ненужных нервов!

И по камням острым, как глаза ораторов,  
 красавцы-отцы здоровых томов,  
 поташим мордами умных психиатров  
 и бросим за решетки сумасшедших домов!

А сами сквозь город, иссохший как Онания,  
 с толпой фонарей желтолицых, как скопцы,  
 голодным самкам накормим желания,  
 поросшие шерстью красавцы-самцы!

[1915]



## ГИМН КРИТИКУ

От страсти извозчика и разговорчивой прачки  
невзрачный детеныш в результате вытек.  
Мальчик — не мусор, не вывезешь на тачке.  
Мать поплакала и назвала его: критик.

Отец, в разговорах вспоминая родословные,  
любил поспорить о правах материнства.  
Такое воспитание, светское и салонное,  
оберегало мальчика от уклона в свинство.

Как роется дворником к кухарке сапа,  
щебетала мамаша и кальсоны мыла;  
от мамыши мальчик унаследовал запах  
и способность вникать легко и без мыла.

Когда он вырос приблизительно с полено  
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,  
его изящным ударом колена  
провели на улицу, чтобы вышел в люди.

Много ль человеку нужно? — Клочок —  
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.  
Он носом, хорошеньким, как построчный пятачок,  
обнюхал приятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то имени  
нежнейший в двери услышал стук.  
И скоро критик из имениного вымени  
выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Легко смотреть ему, обутому и одетому,  
молодых искателей изысканные игры  
и думать: хорошо — ну, хотя бы этому  
потрогать зубенками шальные икры.

Но если просочится в газетной сети  
о том, как велик был Пушкин или Дант,  
кажется, будто разлагается в газете  
громадный и жирный официант.

И когда вы, наконец, в столетний юбилей  
продерете глазки в кадиальной гари,  
имя его первое, голубицы белей,  
чисто засияет на поднесенном портсигаре.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.  
И богадельню критикам построим в Ницце.  
Вы думаете — легко им наше белье  
ежедневно прополаскивать в газетной странице!

[1915]

## ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!  
И уже успевшие наестся тысячи!

Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны  
и тысячи блюдц всяческой пищи.

Если ударами ядр  
тысячи Реймсов разбить удалось бы —  
по-прежнему будут ножки у пуляра,  
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят  
величием смерти для новой эры?!  
Желудку ничем болеть нельзя,  
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в зале совсем потонут зрочки —  
все равно их зря отец твой выделаа;  
на слепую кишку хоть надень очки,  
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,  
если б рот один, без глаз, без затылка —  
сразу могла б поместиться в рот  
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,  
с куском пирога в руке,  
а дети твои у тебя на брюхе  
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови  
и тем, что пожаром мир опоясан, —  
молоком богаты силы коровьи,  
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья  
и заак последний с камня серого,  
ты, верный раб твоего обычая,  
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,  
на памятнике прикажем высечь:  
«Из столькох-то и столькох-то котлет миллионов —  
твоих четыреста тысяч».

[1915]

## ТЕПЛОЕ СЛОВО КОЕ-КАКИМ ПОРОКАМ (ПОЧТИ ГИМН)

Ты, который трудишься, сапоги ли чистишь,  
бухгалтер или бухгалтера помощница,  
ты, чье лицо от дел и тощищи  
помятое и зеленое, как трешница.

Портной, например. Чего ты ради  
эти брюки принес к примерке?

У тебя совершенно нету дядей,  
а если есть, то небогатый, не мрет и не в Америке.

Говорю тебе я, начитанный и умный:  
ни Пушкин, ни Щепкин, ни Врубель  
ни строчке, ни позе, ни краске надуманной  
не верили — а верили в рубль.

Живешь уютжить и ножницами раниться.  
Уже сединою бороду перебил,  
а видел ты когда-нибудь, как померанец  
растет себе и растет на дереве?

Потеете и трудитесь, трудитесь и потеете,  
вытелятся и вытянутся какие-то дети,  
мальчики — бухгалтеры, девочки — помощницы, те и те  
будут потеть, как потели эти.

А я вчера, не насилуемый никем,  
просто,  
снял в «железку» по шестой руке  
три тысячи двести — со́ ста.

Ничего, если, приложивши палец ко рту,  
зубоскалят, будто помог тем,  
что у меня такой-то и такой-то туз  
мягко помечен ногтем.

Игроческие очи из ночи  
блестели, как два рубля,  
я разгружал кого-то, как настойчивый рабочий  
разгружает трюм корабля.

Слава тому, кто первый нашел,  
как без труда и хитрости,  
чистоплотно и хорошо  
карманы ближнему вывернуть и вытрясти!

И когда говорят мне, что труд, и еще, и еще,  
будто хрен натирают на заржавленной терке,  
я ласково спрашиваю, взяв за плечо:  
«А вы прикушаете к пятерке?»

[1915]

### ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ

Ну, это совершенно невыносимо!  
Весь как есть искусан злобой.  
Злюсь не так, как могли бы вы:  
как собака лицо луны гололобой —  
взял бы  
и все обвыл.

Нервы, должно быть...  
 Выйду,  
 погуляю.  
 И на улице не успокоился ни на ком я.  
 Какая-то прокричала про добрый вечер.  
 Надо ответить:  
 она — знакомая.  
 Хочу.  
 Чувствую —  
 не могу по-человечьи.

Что это за безобразие!  
 Сплю я, что ли?  
 Ощупал себя:  
 такой же, как был,  
 лицо такое же, к какому привык.  
 Тронул губу,  
 а у меня из-под губы —  
 клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.  
 Бросился к дому, шаги удвоив.

Бережно огибаю полицейский пост,  
 вдруг оглушительное:  
 «Городовой!  
 Хвост!»

Провел рукой и — остолбенел!  
 Этого-то,  
 всяких клыков почище,  
 я и не заметил в бешеном скачке:  
 у меня из-под пиджака  
 развесерился хвостище  
 и вьется сзади,  
 большой, собачий.

Что теперь?  
 Один заорал, толпу растя.  
 Второму прибавился третий, четвертый.  
 Смяли старушонку.  
 Она, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, оцетинив в лицо ушища-веники,  
 толпа навалилась,  
 огромная,  
 злая,  
 я стал на четвереньки  
 и залаял:  
 Гав! гав! гав!

[1915]

## КОЕ-ЧТО ПО ПОВОДУ ДИРИЖЕРА

В ресторане было от электричества рыжѳ.  
Кресла облиты в дамскую мякоть.  
Когда обиженный выбежал дирижер,  
приказал музыкантам плакать.

И сразу тому, который в бороду  
толстую семгу вкусно нес,  
труба — изловчившись — в сытую морду  
ударила горстью медных слез.

Еще не успел он, между нкотами,  
выпихнуть крик в золотую челюсть,  
его избитые тромбонами и фаготами  
смяли и скакали через.

Когда последний не дополз до двери,  
умер щекою в соусе,  
приказав музыкантам выть по-зверьи —  
дирижер обезумел вовсе!

В самые зубы туше опѳенной  
втиснул трубу, как медный калач,  
дул и слушал — раздутым удвоенный,  
мечется в брюхе плач.

Когда наутро, от злобы не евший,  
хозяин принес расчет,  
дирижер на люстре уже посиневший  
висел и синел еще.

[1915]

## ПУСТЯК У ОКИ

Нежно говорил ей —  
мы у реки  
шли камышами:  
«Слышите: шуршат камыши у Оки.  
Будто наполнена Ока мышами.  
А в небе, лучик сережкой вдвев в ушко,  
звезда, как вы, хорошая, — не звезда, а девушка...  
А там, где кончается звездочки точка,  
месяц улыбается и заверчен, как  
будто на небе строчка  
из Аверченко...  
Вы прекрасно картавите.  
Только жалко Италию...»  
Она: «Ах, зачем вы давите  
и локоть и талию.  
Вы мне мешаете  
у камыша идти...»

[1915]

## ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ НЕЛЕПОСТИ

Бросьте!  
Конечно, это не смерть.  
Чего ей ради ходить по крепости?  
Как вам не стыдно верить  
нелепости?!

Просто именинник устроил карнавал,  
выдумал для шума стрельбу и тир,  
а сам, по-жабьи присев на вал,  
вымаргивается, как из мортир.  
Ласков хозяина бас,  
просто — похож на пушечный.  
И не от газа маска,  
а ради шутки игрушечной.  
Смотрите!

Небо мерить  
выбежала ракета.  
Разве так красиво смерть  
бежала б в небе паркета!

Ах, не говорите:

«Кровь из раны».

Это — дико!

Просто избранных из бранных  
одаривали гвоздикой.

Как же иначе?

Мозг не хочет понять

и не может:

у пушечных шей

если не целоваться,  
то — для чего же  
обвиты руки траншей?  
Никто не убит!

Просто — не выстоял.

Лег от Сены до Рейна.

Оттого что цветет,  
одуряет желтолистая  
на клумбах из убитых гангрена.

Не убиты,

нет же,

нет!

Все они встанут

просто —

вот так,

вернутся

и, улыбаясь, расскажут жене,  
какой хозяин весельчак и чудак.

Скажут: не было ни ядр, ни фугасов

и, конечно же, не было крепости!

Просто именинник выдумал массу  
каких-то великолепных нелепостей!

[1915]

## ГИМН ВЗЯТКЕ

Пришли и славословим покорненько  
тебя, дорогая взятка,  
все здесь, от младшего дворника  
до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей  
посмеет с укором глаза́ весть,  
мы так, как им и не снится,  
накажем мерзавцев за зависть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,  
наденем мундиры и медали  
и, выдвинув вперед убедительный кулак,  
спросим: «А это видали?»

Если сверху смотреть — разинешь рот.  
И выигрывает от радости каждая мышца.  
Россия — сверху — прямо огород,  
вся наливается, цветет и пышится.

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза  
и лезть в огород козе лень?..  
Было бы время, я б доказал,  
которые — коза и зелень.

И нечего доказывать — идите и берите.  
Умолкнет газетная нечисть ведь.  
Как баранов, надо стричь и брить их.  
Чего стесняться в своем отечестве?

[1915]

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ  
К ВЗЯТОЧНИКАМ

Неужели и о взятках писать поэтам!  
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.  
Вы, которые взяточники,  
хотя бы поэтому,  
не надо, не берите взяток.  
Я, выколачивающий из строчек штаны, —  
конечно, как начинающий, не очень часто,  
я — еще и российский гражданин,  
беззаветно чтущий и чиновника и участок.  
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,  
приникиши щечкою к светлому кителю.  
Думает чиновник: «Эх, удалось бы!  
Этак на двести птичку вытелю».  
Сколько раз под сень чинов ник,  
приносил обиды им.  
«Эх, удалось бы, — думает чиновник, —  
этак на триста бабочку выдоним».

Я знаю, надо и двести и триста вам —  
 возьмут, все равно, не те, так эти;  
 и руганью ни одного не обижу пристава:  
 может быть, у пристава дети.  
 Но лишний труд — доить поодиночно,  
 вы и так ведете в работе года.  
 Вот что я выдумал для вас нарочно —  
 Господа!  
 Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,  
 берите деньги и драгоценности мамашины,  
 чтоб последний мальчонка в потненьком кулачке  
 зажал сбереженный рубль бумажный.  
 Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.  
 Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!  
 У старых брюк обшарьте карманы —  
 в карманах копеек на сорок мелочи.  
 Все это узлами уложим и свяжем,  
 а сами, без денег и платья,  
 придем, поклонимся и скажем:  
 Натё!  
 Что нам деньги, транжирам и мотам!  
 Мы даже не знаем, куда нам деть их.  
 Берите, милые, берите, чего там!  
 Вы наши отцы, а мы ваши дети.  
 От холода не попадая зубом на зуб,  
 станем голые под голые небеса.  
 Берите, милые! Но только сразу,  
 Чтоб об этом больше никогда не писать.

[1915]

### ЧУДОВИЩНЫЕ ПОХОРОНЫ

Мрачные до черного вышли люди,  
 тяжело и чинно выстроились в городе,  
 будто сейчас набираться будет  
 хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,  
 небо, в бурю крашеное, —  
 все было так подобрано и подогнано,  
 что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,  
 пыльного воздуха сухая охра,  
 вылез из воздуха и начал ехать  
 тихий катафалк чудовищных похорон.

Встревоженная ожила глаз масса,  
 гору взоров в гроб бросили.  
 Вдруг из гроба прыснула гримаса,  
 после —



крик: «Хоронят умерший смех!» —  
из тысячегрудого меха  
гремел омпллионенный множеством эх  
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи  
врезались, заставив ничего не понимать.  
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь, —  
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?  
Смотрите: в лысине — тот —  
это большой, носатый  
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,  
а за ним ободранная, куцая,  
визжа, бежала острота.  
Куда — если умер — уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.  
Но еще,  
еще откуда-то плачики —  
это целые полчища улыбочек и улыбок  
ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один  
сплошной изрыдавшийся Гаршин,  
вышел ужас — вперед пойти —  
весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало — кашница,  
смятая морщинками на выхмуренном лбу,  
а если кто смеется — кажется,  
что ему разодрали губу.

[1915]

## МОЕ К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ

*(гимн еще почтее)*

Май ли уже расцвел над городом,  
плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик, —  
весь год эта пухлая морда  
маячит в дымах фабрик.

Брюшком обвисшим и гаденьким  
лежит на воздушном откосе,  
и пухлые губы бантиком  
сложены в 88.

Внизу суетятся рабочие,  
нищий у тумбы виден,  
а у этого брюхо и все прочее —  
лежит себе сыт, как Сытин.

Вкусной слюны разлились волны,  
во рту громадном плещутся, как в бухте,  
А полный! Боже, до чего он полный!  
Сравнить если с ним, то худ и Апухтин.

Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,  
шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд ему,  
а ему все кажется: «Цаца! Цаца!» —  
кричат ему, и все ему нравится, проклятому.

Растет улыбка, жирна и нагла,  
рот до ушей разросся,  
будто у него на роже спектакль-гала́  
затеяла трушпа малороссов.

Солнце взойдет, и сейчас же луч его  
ему щекочет пятки холеные,  
и луна ничего не находит лучшего.  
Объявляю всенародно: очень недоволен я.

Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,  
характер — как из кости слоновой то́чен,  
а этому взял бы да и дал по роже:  
не нравится он мне очень.

[1915]

## Эй!

Мокрая, будто ее облизали,  
толпа.  
Прокисший воздух плесенью веет.  
Эй!  
Россия,  
нельзя ли  
чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,  
хотя бы закрыв глаза,  
забыть вас,  
ненужных, как насморк,  
и трезвых,  
как нарзан.

Вы все такие скучные, точно  
во всей вселенной нету Капри.  
А Капри есть.  
От сияний цветочных  
весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег  
забудем, качая тела в пароходах.  
Наоткрываем десятки Америк.  
В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри какой ты ловкий,  
а я —  
вон у меня рука груба как.

Быть может, в турнирах,  
быть может, в боях  
я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,  
смотреть, растопырил ноги как.  
И вот врага, где предки,  
туда  
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,  
забыв привычку спанья,  
всю ночь напролет провести,  
глаза  
уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ошестинясь, как еж,  
с похмельем придя поутру,  
неверной любимой грозить, что убьешь  
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,  
крахмальные груди раскрасим под панцирь,  
загнем рукоять на столовом ноже,  
и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,  
любились, дрались, волновались.  
Эй!

Человек,  
землю саму  
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,  
новые звезды придумай и выставь,  
чтоб, иступленно парая крыши,  
в небо карабкались души артистов.

[1916]

## КО ВСЕМУ

Нет.  
Это неправда.  
Нет!  
И ты?  
Любимая,  
за что,  
за что же?!  
Хорошо —  
я ходил,

я дарил цветы,  
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!

Белый,  
спатался с пятого этажа.  
Ветер щеки ожег.  
Улица клубилась, визжа и ржа.  
Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури  
строгое —  
древних икон —  
чело.  
На теле твоём — как на смертном одре —  
сердце  
дни  
кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.  
Ты  
уронила только:

«В мягкой постели  
он,  
фрукты,  
вино на ладони ночного столика».

Любовь!  
Только в моем  
воспаленном  
мозгу была ты!  
Глупой комедии остановите ход!  
Смотрите —  
срываю игрушки-латы  
я,  
величайший Дон-Кихот!

Помните:  
под ношей креста  
Христос  
секунду  
усталый стал.  
Толпа орала:  
«Марала!  
Мааарррааала!»

Правильно!  
Каждого,  
кто  
об отдыхе взмолится,  
оплауй в его весеннем дне!  
Армии подвижников, обреченным добровольцам  
от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь —  
клянусь моей языческой силою! —  
дайте  
любую  
красивую,  
юную, —  
души не растрачу,  
изнасилую  
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!  
В каждое ухо ввой:  
вся земля —  
каторжник  
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,  
похороните —  
выроюсь!  
Об камень обточатся зубов ножи еще!  
Собакой забьюсь под нары казарм!  
Буду,  
бешеный,  
вгрызаться в ножища,  
пахнувшие потом и базаром.

Ночью вскóчните!

Я  
звал!  
Белым быком возрос над землей:  
Муууу!  
В ярмо замучена шея-язва,  
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,  
в провода  
впутаю голову ветвистую  
с налитыми кровью глазами.  
Да!  
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!  
Молитва у рта, —  
лег на плиты просящ и грязен он.

Я возьму  
намалюю  
на царские врата  
на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!  
 Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, —  
 чтоб тысячами рождались мои ученики  
 трубить с площадей анафему!

И когда,  
 наконец,  
 на веков верхи став,  
 последний выйдет день им, —  
 в черных душах убийц и анархистов  
 зажгусь кровавым видением!

Светает.  
 Все шире разверзается неба рот.  
 Ночь  
 пьет за глотком глоток он.  
 От окон зарево.  
 От окон жар течет.  
 От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!  
 Опять  
 над уличной пылью  
 ступенями строк ввысь поведи!  
 До края полное сердце  
 вылью  
 в исповеди!

Грядущие люди!  
 Кто вы?  
 Вот — я,  
 весь  
 боль и ушиб.  
 Вам завещаю я сад фруктовый  
 моей великой души.

[1916]

## Лиличка!

*Вместо письма*

Дым табачный воздух выел.  
 Комната —  
 глава в крученыховском аде.  
 Вспомни —  
 за этим окном  
 впервые  
 руки твои, исступленный, гладил.  
 Сегодня сидишь вот,  
 сердце в железе.  
 День еще —  
 выгонишь,  
 может быть, изругав.

В мутной передней долго не влезет  
сломанная дрожью рука в рукав.  
Выбегу,  
тело в улицу брошу я.  
Дикий,  
обезумляюсь,  
отчаяньем иссечась.  
Не надо этого,  
дорогая,  
хорошая,  
дай простимся сейчас.  
Все равно  
любовь моя —  
тяжкая гиря ведь —  
висит на тебе,  
куда ни бежала б.

Дай в последнем крике вырветь  
горечь обиженных жалоб.  
Если быка трудом уморят —  
он уйдет,  
разляжется в холодных водах.  
Кроме любви твоей,  
мне  
нету моря,  
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.  
Захочет покоя уставший слон —  
царственный ляжет в опожаренном песке.  
Кроме любви твоей,  
мне  
нету солнца,  
а я и не знаю, где ты и с кем.  
Если б так поэта измучила,  
он  
любимую на деньги б и славу выменял,  
а мне  
ни один не радостен звон,  
кроме звона твоего любимого имени.  
И в пролет не брошусь,  
и не выпью яда,  
и курок не смогу над виском нажать.  
Надо мною,  
кроме твоего взгляда,  
не властно лезвие ни одного ножа.  
Завтра забудешь,  
что тебя короновал,  
что душу цветущую любовью выжжет,  
и суетных дней взметенный карнавал  
растреплет страницы моих книжек...  
Слов моих сухие листья ли  
заставят остановиться,  
жадно дыша?

Дай хоть  
последней нежностью выстелить  
твой уходящий шаг.

*26/V 1916 г. Петроград*

### ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА

Павлиньим хвостом распуцу фантазию в пестром цикле,  
душу во власть отдам рифм неожиданных рою.  
Хочется вновь услышать, как с газетных столбцов зацыкали  
те,  
кто у дуба, кормящего их,  
корни рылами роют.

*[1916]*

### НИКЧЕМНОЕ САМОУТЕШЕНИЕ

Мало извозчиков?  
Тешьтесь ложью.  
Видана ль шутка площе чья!  
Улицу врасплох огляните —  
из рож ее  
чья не извозчичья?

Поэт ли  
поет о себе и о розе,  
девушка ль  
в локон выплетет ухо —  
вижу тебя,  
сошедший с козел  
король трактиров,  
ёрник и ухарь.

Если говорят мне:  
— Помните,  
Сидоров  
помер? —  
не забуду,  
удивленный,  
глазами смерить их.  
О, кому же охота  
помнить номер  
нанятого тащиться от рождения к смерти?!

Все равно мне,  
что они коней не поят,  
что утром не начищают дуг они —  
с улиц,  
с бесконечных козел  
тупое  
лицо их,  
открытое лишь мордобою и ругани.



Дети,  
 вы еще  
 остались.  
 Ничего.  
 Подрастете.  
 Скоро  
 в жиденьком кулачонке зажмете кнutowище,  
 матерной руганью потрясая город.

Хожу меж извозчиков.  
 Шляпу на нос.  
 Торжественней, чем строчка державинских од.  
 День еще —  
 и один останусь  
 я,  
 медлительный и вдумчивый пешеход.

[1916]

## НАДОЕЛО

Не высидел дома.  
 Анненский, Тютчев, Фет.  
 Опять,  
 тоскою к людям ведомый,  
 иду  
 в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.  
 Сияние.  
 Надежда сияет сердцу глупому.  
 А если за неделю  
 так изменился россиянин,  
 что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,  
 роюсь в пиджачной куче.  
 «Назад,  
 наз-зад,  
 н а з а д!»  
 Страх орет из сердца.  
 Мечется по лицу, безнадёжен и скучен.

Не слушаюсь.  
 Вижу,  
 вправо немножко,  
 неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,  
 старательно работает над телячьей ножкой  
 загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.  
 Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.  
 Два аршина безлицого розоватого теста:  
 хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи  
 мягкие складки лоснящихся щек.  
 Сердце в исступлении,  
 рвет и мечет.  
 «Назад же!  
 Чего еще?»

Влево смотрю.  
 Рот разинул.  
 Обернулся к первому, и стало и́наче:  
 для увидевшего вторую образину  
 первый —  
 воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.  
 Понимаете  
 крик тысячедневных мук?  
 Душа не хочет немая идти,  
 а сказать кому?

Брошусь на землю,  
 камня корою  
 в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.  
 Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев покрою  
 умную морду трамвая.

В дом уйду.  
 Прилипну к обоям.  
 Где роза есть нежнее и чайнее?  
 Хочешь —  
 тебе  
 рябое  
 прочту «Простое как мычание»?

### ДЛЯ ИСТОРИИ

Когда все расселятся в рай и в аду,  
 земля итогами подведена будет —  
 помните:  
 в 1916 году  
 из Петрограда исчезли красивые люди.

[1916]

### ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опутываю в трогательный роман,  
 просто на прохожего гляжу ли —  
 каждый опасново придерживает карман.  
 Смешные!  
 С нищих —  
 что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —

кандидат на сажень городского морга —  
я  
бесконечно больше богат,  
чем любой Пьерпонт Морган.

Через столько-то, столько-то лет  
— словом, не выживу —  
с голода схохну ль,  
стану ль под пистолет —  
меня,  
сегодняшнего рыжего,  
профессора́ разучат до последних нот,  
как,  
когда,  
где явлен.  
Будет  
с кафедры лобастый идиот  
что-то молоть о богодьяволе.

Склóнится толпа,  
лебезяца,  
суетна.  
Даже не узнаете —  
я не я:  
облысевшую голову разрисует она  
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,  
прежде чем лечь,  
она  
не забудет над стихами мои замлеть.  
Я — пессимист,  
знаю —  
вечно  
будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа,  
— а ее богатства пойдите смертьте ей! —  
великолепие,  
что в вечность украсит мой шаг,  
и самое мое бессмертие,  
которое, громыхая по всем векам,  
коленопреклоненных соберет мировое вече, —  
все это — хотите? —  
сейчас отдам  
за одно только слово  
ласковое,  
человечье.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь,  
идите со всего земного лона.  
Сегодня  
в Петрограде  
на Надеждинской  
ни за грош  
продается драгоценнейшая корона.

За человечье слово —  
не правда ли, дешево?  
Пойди,  
попробуй, —  
как же,  
найдешь его!

[1916]

## МРАК

Склоняются долу солнцеподобные лики их.  
И просто мрут,  
и давятся,  
и тонут.  
Один за другим уходят великие,  
за мастодонтом мастодонт...

Сегодня на Верхарна обиделись небеса.  
Думает небо —  
дай  
зашибу его!  
Господи,  
кому теперь писать?  
Неужели Шебуеву?

Впрочем —  
пусть их пишут.  
Не мне в них рыться.  
Я с характером.  
Вол сам.  
От чтенья их  
в сердце заводится мокрица  
и мозг зарастает густейшим волосом.

И писать не буду.  
Лучше  
проверю,  
не широка ль в «Селекте» средняя луза.

С Фадеем Абрамовичем сяду играть в окó.  
Есть  
у союзников французов  
хорошая пословица:  
«Довольно дураков».

Пусть писатели начинают.  
 Подожду.  
 Посмотрю,  
 какую дрянью значиняют  
 чемоданы душ.

Вспомнит толпа о половом вопросе.  
 Дальше больше оскудеет ум ее.  
 Пойдут на лекцию Поссе:  
 «Финики и безумие».

Изахолустничается.  
 Станет — Чита.  
 Футуризмом покажется театр Мосоловой.  
 Дома запрется —  
 по складам  
 будет читать  
 «Задушевное слово».

Мысль иссушится в мелкий порошок.  
 И когда  
 останется смерть одна лишь ей,  
 тогда...  
 Я знаю хорошо —  
 вот что будет дальше.

Ко мне,  
 уже разукрашенному в просесть,  
 придет она,  
 повиснет на шею плакучей ивою:  
 «Владимир Владимирович,  
 милый» —  
 попросит —  
 я сяду  
 и напишу что-нибудь  
 замечательно красивое.

[1916]

## ЛУННАЯ НОЧЬ

### *Пейзаж*

Будет луна.  
 Есть уже  
 немножко.  
 А вот и полная повисла в воздухе.  
 Это бог, должно быть,  
 дивной  
 серебряной ложкой  
 роется в звезда ухé.

[1916]

## СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Вбежал.  
 Запыхался победы гонец:  
 «Довольно.  
 К веселью!  
 К любви!  
 Грустящих к черту!  
 Уныньям конец!»  
 Какой сногшибательней вид?  
 Цилиндр на затылок.  
 Штаны — пила.  
 Пальмерстон застегнут наглухо.  
 Глаза —  
 двум солнцам велю пылать  
 из глаз  
 неотразимо нагих.  
 Афиш подлиннее.  
 На выси эстрад.  
 О, сколько блестящего вздора вам!  
 Есть ли такой, кто орать не рад:  
 «Маяковский!  
 Bravo!  
 Маяковский!  
 Зао-ро-воо!»  
 Мадам, на минуту!  
 Что ж, что стара?  
 Сегодня всем целоваться.  
 За мной!  
 Смотрите,  
 сие — ресторан.  
 Зал зацвел от оваций.  
 Лакеи, вин!  
 Чтобы все сорта.  
 Что рюмка?  
 Бочки гора.  
 Пока не увижу дно,  
 изо рта  
 не вырвать блестящий кран...  
 Домой — писать.  
 Пока в крови  
 вино  
 и мысль тонка.  
 Да так,  
 чтоб каждая палочка в «и»  
 просилась:  
 «Пусти в канкан!»  
 Теперь — на Невский.  
 Где-то  
 в ногах  
 толпа — трусящий заяц,

и только  
по дамам прокатывается:  
«Ах,  
какой прекрасный мерзавец!»

[1916]

## В. Я. БРЮСОВУ НА ПАМЯТЬ

«Брюсов выпустил окончание поэмы Пушкина «Египетские ночи».

Альманах «Стремнины».

Разбоя след затерян прочно  
во тьме египетских ночей.  
Проверив рукопись  
построчно,  
гроши отсыпал казначей.  
Бояться вам рожна какого?  
Что  
против — Пушкину иметь?  
Его кулак  
навек закован  
в спокойную к обиде медь!

[1916]

## ХВОИ

Не надо.  
Не просите.  
Не будет елки.  
Как же  
в лес  
отпустите папу?  
К нему  
из-за леса  
ядер осколки  
протянут,  
чтоб взять его,  
хищную лапу.

Нельзя.  
Сегодня  
горящие блесстки  
не будут лежать  
под елкой  
в вате.  
Там —  
миллион смертоносных о́сок

ужалят,  
а раненым ваты не хватит.

Нет.  
Не зажгут.  
Свечей не будет.  
В море  
железные чудища лазят.

А с этих чудищ  
злые люди  
ждут:  
не блеснет ли у о́кон в глазе.

Не говорите.  
Глупые речь заводят:  
чтоб дед пришел,  
чтоб игрушек ворох.  
Деда нет.  
Дед на заводе.  
Завод?  
Это тот, кто делает порох.

Не будет музыки.  
Ру́ченек  
где взять ему?  
Не сядет, играя.  
Ваш брат  
теперь,  
безрукий мученик,  
идет, сияющий, в воротах рая.

Не плачьте.  
Зачем?  
Не хмурьте личек.  
Не будет —  
что же с того!  
Скоро  
все, в радостном кличе  
голоса сплетая,  
встретят новое Рождество.

Елка будет.  
Да какая —  
не обхватишь ствол.  
Навесят на елку сиянья разного.  
Будет стоять сплошное Рождество.  
Так что  
даже —  
надоест его праздновать.

[1916]



СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ,  
ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР

Четыре.  
Тяжелые, как удар.  
«Кесарево кесарю — богу богово».  
А такому,  
как я,  
ткнуться куда?  
Где для меня уготовано логово?

Если б был я  
маленький,  
как Великий океан, —  
на цыпочки б волн встал,  
приливом ласкался к луне бы.  
Где любимую найти мне,  
такую, как и я?  
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!  
Как миллиардер!  
Что деньги душе?  
Ненасытный вор в ней.  
Моих желаний разнузданной орде  
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,  
как Дант  
или Петрарка!

Душу к одной зажечь!  
Стихами велеть истлеть ей!  
И слова  
и любовь моя —  
триумфальная арка:  
пышно,  
бесследно пройдут сквозь нее  
любовницы всех столетий.

О, если б был я  
тихий,  
как гром, —  
ныл бы,  
дрождю объял бы земли одряхлевший скит.  
Я  
если всей его мощью  
выреву голос огромный —  
кометы заломят горящие руки,  
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —  
о, если б был я

тусклый,  
как солнце!  
Очень мне надо  
сияньем моим поить  
земли отощавшее лонце!

Пройду,  
любовищу мою волоча.  
В какой ночи,  
бредовой,  
недужной,  
какими Голафами я зачат —  
такой большой  
и такой ненужный?

[1916]

## ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА

Стоит император Петр Великий,  
думает:  
«Запирую на просторе я!» —  
а рядом  
под пьяные клики  
строится гостиница «Астория».

Сияет гостиница,  
за обедом обед она  
дает.  
Завистью с гранита снят,  
слез император.  
Трое медных  
слазят  
тихо,  
чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.  
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.  
Кто-то  
рассеянный  
бросил:  
«Извините»,  
наступив нечаянно на змеин хвост.

Император,  
лошадь и змей  
неловко  
по карточке  
спросили гренадин.  
Шума язык не смолк, немея.  
Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только  
когда

над пачкой соломинок  
в коне заговорила привычка деревня,  
толпа сорвалась, криком сломана:  
— Жует!

Не знает, зачем они.  
Деревня!

Стыдом овихрены шаги коня.  
Выбелена грива от уличного газа.  
Обратно  
по Набережной  
гонит гиканье  
последнюю из петербургских сказок.

И вновь император  
стоит без скипетра.  
Змей.  
Унынье у лошади на морде.  
И никто не поймет тоски Петра —  
узника,  
закованного в собственном городе.

[1916]

## РОССИИ

Вот иду я,  
заморский страус,  
в перьях строф, размеров и рифм.  
Спрятать голову, глупый, стараюсь,  
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.  
Глубже  
в перья, душа, уложись!  
И иная окажется родина,  
вижу —  
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.  
В пальмы овазился.  
«Эй,  
дорогу!»  
Выдумку мнут.  
И опять  
до другого оазиса  
вью следы песками минут.

Иные жмутся —  
уйти б,  
не кусается ль? —  
Иные изогнуты в низкую лесть.

«Мама,  
а мама,  
несет он яйца?» —

«Не знаю, душечка.  
Должен бы несть».

Ржут этажия.  
Улицы пялятся.  
Облают водой холода́.  
Весь истыканный в дымы и в пальцы,  
переваливаю года.  
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!  
Бритвой ветра перья обрей.  
Пусть исчезну,  
чужой и заморский,  
под неистовства всех декабрей.

[1916]

### БРАТЯ ПИСАТЕЛИ

Очевидно, не привыкну  
сидеть в «Бристоле»,  
пить чай,  
построчно врать я, —  
опрокину стаканы,  
взлезу на столик.  
Слушайте,  
литературная братия!

Сидите,  
глазенки в чаишко канув.  
Вытерся от строчения локоть плюшевый.  
Подымите глаза от недопитых стаканов.  
От косм освободите уши вы.

Вас,  
прилипших  
к стене,  
к обоям,  
милые,  
что вас со словом свело?  
А знаете,  
если не писал,  
разбоем  
занимался Франсуа Виллон.

Вам,  
берущим с опаской  
и перочинные ножи,  
красота великолепнейшего века вверена вам!  
Из чего писать вам?  
Сегодня  
жизнь  
в сто крат интересней  
у любого помощника присяжного поверенного.

Господа поэты,  
 неужели не наскучили  
 пажы,  
 дворцы,  
 любовь,  
 сирени куст вам?  
 Если  
 такие, как вы,  
 творцы —  
 мне наплевать на всякое искусство.

Лучше лавочку открою.  
 Пойду на биржу.  
 Тугими бумажниками растопырю бока.  
 Пьяной песней  
 душу выржу  
 в кабинете кабака.

Под копы волос проникнет ли удар?  
 Мысль  
 одна под волосища вложена:  
 «Причесываться? Зачем же?!  
 На время не стоит труда,  
 а вечно  
 причесанным быть  
 невозможно».

[1917]

## РЕВОЛЮЦИЯ

### *Поэтохроника*

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,  
 солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разлился по блескам дул и лезвий  
 рассвет.  
 Рдел багрян и долог.  
 В промозглой казарме  
 суровый  
 трезвый  
 молился Вольнский полк.

Жестоким  
 солдатским богом божились  
 роты,  
 билась об пол головой многолобой.  
 Кровь разжигалась, висками жглась.  
 Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,  
 приказавшему —

«Стрелять за голод!» —  
 заткнули пулей орущий рот.  
 Чье-то — «Смирно!»  
 Не кончил.  
 Заколот.  
 Вырвалась городу буря рот.  
 9 часов.

На своем постоянном месте  
 в Военной автомобильной школе  
 стоим,  
 зажатые казарм оградой.  
 Рассвет растет,  
 сомнением колет,  
 предчувствием страха и радуя.

Окну!  
 Вижу —  
 оттуда,  
 где режется небо  
 дворцов иззубленной линией,  
 взлетел,  
 простерся орел самодержца,  
 черней, чем раньше,  
 злей,  
 орлинее.

Сразу —  
 люди,  
 лошади,  
 фонари,  
 дома  
 и моя казарма  
 толпами  
 по́ сто  
 ринулись на улицу.  
 Шагами ломаемая, звенит мостовая.  
 Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,  
 из пенья толпы ль,  
 из рвущейся меди ли труб гвардейцев  
 нерукотворный,  
 сиянием пробивая пыль,  
 образ возрос.  
 Горит.  
 Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.  
 Хлеба нужней,  
 воды изжажданней,  
 вот она:  
 «Граждане, за ружья!  
 К оружию, граждане!»

На крыльях флагов  
стоглавой лавою  
из горла города ввысь взлетела.  
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое  
орла императорского черное тело.

Граждане!  
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».  
Сегодня пересматривается миров основа.  
Сегодня  
до последней пуговицы в одежде  
жизнь переделаем снова.

Граждане!  
Это первый день рабочего потопа.  
Идем  
запутавшемуся миру на выручу!  
Пусть толпы в небо вбивают топот!  
Пусть флоты ярость сиренами вырывают!

Горе двуглавному!  
Пенится пенье.  
Пьянит толпу.  
Площади плещут.  
На крохотном форде  
мчим,  
обгоняя погони пуль.  
Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.  
Улиц река дымит.  
Как в бурю дюжина груженных барж,  
над баррикадами  
плывет, громыхая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро  
жужжа скатилось за купол Думы.  
Нового утра новую дрожь  
встречаем у новых сомнений в бреду мы.

Что будет?  
Их ли из окон выломим  
или на нарах  
ждать,  
чтоб снова  
Россию  
могилами  
выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.  
Дальше,  
в шинели орыт.  
Рассыпав дома́ в пулеметном треске,  
город грохочет.  
Город горит.

Везде языки.  
 Взовьются и лягут.  
 Вновь взвиваются, искры рассея.  
 Это улицы,  
 взяв по красному флагу,  
 призывом зарев зовут Россию.

Еще!  
 О, еще!  
 О, ярче учи, красноязыкий оратор!  
 Зажми и солнца  
 и лун лучи  
 мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавному!  
 Каторгам в двери  
 ломись,  
 когтями ржавые выев.  
 Пучками черных орлиных перьев  
 подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.  
 По чердакам раскинули поиск.  
 Минута близко.  
 На Троицкий мост  
 вступают толпы войск.

Скрип содрогает устои и скрепы.  
 Стиснулись.  
 Бьемся.  
 Секунда! —  
 и в лак  
 заката  
 с фортов Петропавловской крепости  
 взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавному!  
 Шеищи глав  
 рубите наотмашь!  
 Чтоб больше не ожил.  
 Вот он!  
 Падает!  
 В последнего из-за угла! — вцепился.  
 «Боже,  
 четыре тысячи в лоно твое прими!»

Довольно!  
 Радость трубите всеми голосами!  
 Нам  
 до бога  
 дело какое?  
 Самы  
 со святыми своих упокоим.



Что ж не поете?  
Или  
души задушены Сибирей саваном?

Мы победили!  
Слава нам!  
Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,  
повелевается воля иная.  
Новые несем земле скрижали  
с нашего серого Синая.

Нам,  
Поселянам Земли,  
каждый Земли Поселянин родной.  
Все  
по станкам,  
по конторам,  
по шахтам братья.  
Мы все  
на земле  
солдаты одной,  
жизнь созидающей рати.

Пробеги планет,  
держав бытие  
подвластны нашим волям.  
Наша земля.  
Воздух — наш.  
Наши звезд алмазные копи.  
И мы никогда,  
никогда!  
никому,  
никому не позволим!  
землю нашу ядрами рвать,  
воздух наш раздирать остриями отточенных копий.

Чья злоба на́двое землю сломала?  
Кто вздыбил дымы над заревом боен?  
Или солнца  
одного  
на всех мáло?!  
Или небо над нами малó голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,  
последний штык заводы гранят.  
Мы всех заставим рассыпать порох.  
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серою,  
не крики тех, кому есть нечего;  
это народа огромного громóвое:  
— Верую  
величию сердца человеческого! —

Это над взбитой битвами пылью,  
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,  
днесь  
небывалой сбывается былью  
социалистов великая ересь!

*17 апреля 1917 года, Петроград*

### СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.  
В красную шапочку кадет был одет.  
Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,  
ни черта в нем красного не было и нету.  
Услышит кадет — революция где-то,  
шапочка сейчас же на голове кадета.  
Жили припеваючи за кадетом кадет,  
и отец кадета и кадетов дед.  
Поднялся однажды пребольшуций ветер,  
в клочья шапчонку изорвал на кадете.  
И остался он черный. А видевшие это  
волки революции сцапали кадета.  
Известно, какая у волков диета.  
Вместе с манжетами сожрали кадета.  
Когда будете делать политику, дети,  
не забудьте сказочку об этом кадете.

*[1917]*

### К ОТВЕТУ!

Гремит и гремит войны барабан.  
Зовет железо в живых втыкать.  
Из каждой страны  
за рабом раба  
бросают на сталь штыка.  
За что?  
Дрожит земля  
голодна,  
раздета.  
Выпарили человечество кровавой баней  
только для того,  
чтоб кто-то  
где-то  
разжился Албанией.  
Сцепилась злость человеческих свор,  
падает на мир за ударом удар  
только для того,  
чтоб бесплатно

Босфор  
 проходили чьи-то суда.  
 Скоро  
 у мира  
 не останется неполоманного ребра.  
 И душу вытащат.  
 И растопчут там ее  
 только для того,  
 чтоб кто-то  
 к рукам прибрал  
 Месопотамию.  
 Во имя чего  
 сапог  
 землю растаптывает скрипяц и груб?  
 Кто над небом боев —  
 свобода?  
 бог?  
 Рубль!  
 Когда же встанешь во весь свой рост  
 ты,  
 отдающий жизнь свою им?  
 Когда же в лицо им бросишь вопрос:  
 за что воюем?

[1917]

\* \* \*

Нетрудно, ландышами дыша,  
 писать стихи на загородной дачке.  
 А мы не такие.  
 Мы вместо карандаша  
 взяли в руки  
 по новенькой тачке.  
 Господин министр,  
 прикажите подать!  
 Кадет, пожалте, садитесь, нате.  
 В очередь!  
 В очередь!  
 Не толпитесь, господа.  
 Всех прокатим.  
  
 Всем останется — и союзникам и врагам.  
 Сначала большие, потом мелкота.  
 Всех по России  
 сквозь смех и гам  
 будем катать.  
  
 Испуганно смотрит  
 невский аристократ.  
 Зато и Нарвская,  
 и Выборгская,

и Охта  
стократ  
раскатят взрыв задорного хохота.

Ищите, не заваялась ли какая тварь еще?  
Чтоб не было никому потачки.  
Время не ждет,  
спешите, товарищи!  
Каждый берите по тачке!

[1917]

## ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ БАСНЯ

Петух однажды,  
дог  
и вор  
такой скрепили договор:  
дог  
соберет из догов свору,  
накрасть предоставлялось вору,  
а петуху  
про гром побед  
орать,  
и будет всем обед.  
Но это все раскрылось скоро.  
Прогнали  
с трона  
в шею  
вора.

Навертывается мораль:  
туда же  
догу  
не пора ль?

[1917]

\* \* \*

Ешь ананасы, рябчиков жуй,  
День твой последний приходит, буржуй.

[1917]



## СТИХОТВОРЕНИЯ 1917—1921 ГОДОВ

### НАШ МАРШ

Бейте в площади бунтов топот!  
Выше, гордых голов гряда!  
Мы разливом второго потопа  
перемоем миров города.

Дней бык пег.  
Медленна лет арба.  
Наш бог бег.  
Сердце наш барабан.

Есть ли наших золот небесней?  
Нас ли сжалит пули оса?  
Наше оружие — наши песни.  
Наше золото — звенящие голоса.

Зеленью ляг, луг,  
выстели дно дням.  
Радуга, дай дуг  
лет быстролётным коням.

Видите, скушно звезда небу!  
Без него наши песни вьем.  
Эй, Большая Медведица! требуй,  
чтоб на небо нас взяли живьем.

Радости пей! Пой!  
В жилах весна разлита.  
Сердце, бей бой!  
Грудь наша — медь литавр.

[1917]

### ТУЧКИНЫ ШТУЧКИ

Плыли по небу тучки.  
Тучек — четыре штучки:

от первой до третьей — люди,  
четвертая была верблюдик.

К ним, любопытством объятая,  
по дороге пристала пятая,

от нее в небосинем лоне  
разбежались за слоником слоник.

И, не знаю, спугнула шестая ли,  
тучки взяли все — и растаяли.

И следом за ними, гонясь и сжирав,  
солнце погналось — желтый жираф.

[1917—1918]

## ВЕСНА

Город зимнее снял.  
Снега распустили слюнки.  
Опять пришла весна,  
глупа и болтлива, как юнкер.

[1918]

## ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДАМ

Били копыта.  
Пели будто:  
— Гриб.  
Грабь.  
Гроб.  
Груб. —

Ветром опита,  
льдом обута,  
улица скользила.  
Лошадь на круп  
грохнулась,  
и сразу  
за зевакой зевака,  
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,  
сгрудилась,  
смех зазвенел и зазвякал:  
— Лошадь упала! —  
— Упала лошадь! —  
Смеялся Кузнецкий.  
Лишь один я  
голос свой не вмешивал в вой ему.  
Подошел  
и вижу  
глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,  
течет по-своему...

Подошел и вижу —  
за каплищей каплища  
по морде катится,  
прячется в шерсти...

И какая-то общая  
 звериная тоска,  
 плеща, вылилась из меня  
 и расплылась в шелесте.  
 «Лошадь, не надо.  
 Лошадь, слушайте —  
 чего вы думаете, что вы их плоше?  
 Деточка,  
 все мы немножко лошади,  
 каждый из нас по-своему лошадь».  
 Может быть  
 — старая —  
 и не нуждалась в няньке,  
 может быть, и мысль ей моя казалась пошла́,  
 только  
 лошадь  
 рванулась,  
 встала на́ ноги,  
 ржанула  
 и пошла.  
 Хвостом помахивала.  
 Рыжий ребенок.  
 Пришла веселая,  
 стала в стойло.  
 И все ей казалось —  
 она жеребенок,  
 и стоило жить,  
 и работать стоило.

[1918]

### ОДА РЕВОЛЮЦИИ

Тебе,  
 освищенная,  
 осмеянная батарями,  
 тебе,  
 изъязвленная злословием штыков,  
 восторженно возношу  
 над руганью реемой  
 оды торжественное  
 «О»!  
 О, звериная!  
 О, детская!  
 О, копеечная!  
 О, великая!  
 Каким названьем тебя еще звали?  
 Как обернешься еще, двуликая?  
 Стройной постройкой,  
 грудой развалин?  
 Машинисту,  
 пылью угля овейному,

шахтеру, пробивающему толщи руд,  
 кадишь,  
 кадишь благоговейно,  
 славишь человеческий труд.  
 А завтра  
 Блаженный  
 стропила соборы  
 тщетно возносит, пощаду моля, —  
 твоих шестидюймовок тупорылые боры  
 взрывают тысячелетия Кремля.  
 «Слава».  
 Хрипит в предсмертном рейсе.  
 Визг сирен придушенно тонок.  
 Ты шлешь моряков  
 на тонущий крейсер,  
 туда,  
 где забытый  
 мяукал котенок.  
 А после!  
 Пьяной толпой орала.  
 Ус залихватский закручен в форсе.  
 Прикладами гонишь седых адмиралов  
 вниз головой  
 с моста в Гельсингфорсе.  
 Вчерашние раны лижет и лижет,  
 и снова вижу вскрытые вены я.  
 Тебе обывательское  
 — о, будь ты проклята трижды! —  
 и мое,  
 поэтово — о, четырежды славься, благословенная! —

[1918]

## ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Канительят стариков бригады  
 канитель одну и ту ж.  
 Товарищи!  
 На баррикады! —  
 баррикады сердец и душ.  
 Только тот коммунист истый,  
 кто мосты к отступлению сжег.  
 Довольно шагать, футуристы,  
 в будущее прыжок!  
 Паровоз построить мало —  
 накрутил колес и утек.  
 Если песнь не громит вокзала,  
 то к чему переменный ток?  
 Громоздите за звуком звук вы  
 и вперед,  
 поя и свища.



Есть еще хорошие буквы:  
 Эр,  
 Ша,  
 Ща.  
 Это мало — построить па́рами,  
 распушить по штанине канты  
 Все совдепы не сдвинут армий,  
 если марш не дадут музыканты.  
 На улицу тащи́те рояли,  
 барабан из окна багром!  
 Барабан,  
 рояль раскрой ли,  
 но чтоб грохот был,  
 чтоб гром.  
 Это что — корпеть на заводах,  
 перемазать рожу в копоть  
 и на роскошь чужую  
 в отдых  
 осовельми глазками хлопать.  
 Довольно грошовых истин.  
 Из сердца старое вытри.  
 Улицы — наши кисти.  
 Площади — наши палитры.  
 Книгой времени  
 тысячелистой  
 революции дни не воспеты.  
 На улицы, футуристы,  
 барабанщики и поэты!

[1918]

## РАДОВАТЬСЯ РАНО

Будущее ищем.  
 Исходили вёрсты торцов.  
 А сами  
 расселились кладби́щем,  
 придавлены плитами дворцов.  
 Белогвардейца  
 найдете — и к стенке.  
 А Рафаэля забыли?  
 Забыли Растрелли вы?  
 Время  
 пулям  
 по стенке музеев тенькать.  
 Стодюймовками глоток старье расстреливай!  
 Сеете смерть во вражьем стане.  
 Не попадись, капитала наймиты.  
 А царь Александр  
 на площади Восстаний  
 стоит?

Туда динамиты!  
 Выстроили пушки по опушке,  
 глухи к белогвардейской ласке.  
 А почему  
 не атакован Пушкин?  
 А прочие  
 генералы классики?  
 Старье охраняем искусства именем.  
 Или  
 зуб революций ступился о короны?  
 Скорее!  
 Дым развейте над Зимним —  
 фабрики макаронной!  
 Попалили денек-другой из ружей  
 и думаем —  
 старому нос утрем.  
 Это что!  
 Пиджак сменить снаружи —  
 мало, товарищи!  
 Выворачивайтесь нутром!

[1918]

### ПОЭТ РАБОЧИЙ

Орут поэту:  
 «Посмотреть бы тебя у токарного станка.  
 А что стихи?  
 Пустое это!  
 Небось работать — кишка тонка».
 Может быть,  
 нам  
 труда  
 всяких занятий роднее.  
 Я тоже фабрика.  
 А если без труб,  
 то, может,  
 мне  
 без труб труднее.  
 Знаю —  
 не любите праздных фраз вы.  
 Рубите дуб — работать дабы.  
 А мы  
 не деревообделочники разве?  
 Голов людских обделываем дубы.  
 Конечно,  
 почтенная вещь — рыбачить.  
 Вытащить сеть.  
 В сетях осетры б!  
 Но труд поэтов — почтенный паче —  
 людей живых ловить, а не рыб.

Огромный труд — гореть над горном,  
железа шипящие класть в закал.

Но кто же  
в безделье бросит укор нам?  
Мозги шлифуем рашпилем языка.  
Кто выше — поэт  
или техник,  
который  
ведет людей к вещественной выгоде?  
Оба.  
Сердца — такие ж моторы.  
Душа — такой же хитрый двигатель.  
Мы равные.  
Товарищи в рабочей массе.  
Пролетарии тела и духа.  
Лишь вместе  
вселенную мы разукрасим  
и маршами пустим ухать.  
Отгородимся от буре словесных молот.  
К делу!  
Работа жива и нова.  
А праздных ораторов —  
на мельницу!  
К мукомолам!  
Водой речей вертеть жернова.

[1918]

### ТОЙ СТОРОНЕ

Мы  
не вопль гениальничанья —  
«все дозволено»,  
мы  
не призыв к ножовой расправе,  
мы  
просто  
не ждем фельдфебельского  
«вольно!»,  
чтоб спину искусства размять,  
расправить.  
Гарцуют скелеты всемирного Рима  
на спинах наших.  
В могилах малó им.  
Так что ж удивляться,  
что непримиримо  
мы  
мир обложили сплошным «долоем».  
Характер различен.  
За целость Венеры вы  
готовы щадить веков камарилью.  
Вселенский пожар размочалил нервы.

Орете:  
«Пожарных!  
Горит Мурильо!»

А мы —  
не Корнеля с каким-то Расином —  
отца, —  
предложи на старье меняться, —  
мы  
и его  
обольем керосином  
и в улицы пустим —  
для иллюминаций.  
Бабушка с дедушкой.  
Папа да мама.  
Чинопочитанья проклятого тина.  
Лачуги рушим.  
Возносим дома мы.  
А вы нас —  
«ловить арканом картинок!?»

Мы  
не подносим —  
«Готово!  
На блюде!  
Хлебайте сладкое с чайной ложки!»  
Клич футуриста:  
были б люди —  
искусство приложится.

В рядах футуристов пусто.  
Футуристов возраст — призыв.  
Изрубленные, как капуста,  
мы войн,  
революций призы.  
Но мы  
не зовем обывателей гроба.  
У пьяной,  
в кровавом пунше,  
земли —  
смотрите! —  
взбухает утроба.  
Рядами выходят юноши.  
Идите!  
Под ноги —  
топчите ими —  
мы  
бросим  
себя и свои творенья.  
Мы смерть зовем рожденья во имя.  
Во имя бега,  
паренья,  
реянья.

Когда ж  
 прорвемся сквозь заставы,  
 и праздник будет за болью боя, —  
 мы  
 все украшения  
 расставим заставим —  
 любите любое!

[1918]

## ЛЕВЫЙ МАРШ

(*Матросам*)

Разворачивайтесь в марше!  
 Словесной не место кляузе.  
 Тише, ораторы!  
 Ваше  
 слово,  
 товарищ маузер.  
 Довольно жить законом,  
 данным Адамом и Евой.  
 Клячу историю загоним.  
 левой!  
 левой!  
 левой!

Эй, синеблузые!  
 Рейте!  
 За океаны!  
 Или  
 у броненосцев на рейде  
 ступлены острые кили?!  
 Пусть,  
 оскалясь короной,  
 вздымает британский лев вой.  
 Коммуне не быть покоренной.  
 левой!  
 левой!  
 левой!

Там  
 за горами гóря  
 солнечный край непочатый.  
 За голод,  
 за мора море  
 шаг миллионный печатай!  
 Пусть бандой окружат нáнятой,  
 стальной изливаются лéвой, —  
 России не быть под Антантой.  
 левой!  
 левой!  
 левой!

Глаз ли померкнет орлий?  
 В старое ль станем пялиться?  
 Крепи  
 у мира на горле  
 пролетариата пальцы!  
 Грудью вперед бравой!  
 Флагами небо оклейвай!  
 Кто там шагает правой?  
 левой!  
 левой!  
 левой!

[1918]

### ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ

Небывалей не было у истории в аннале  
 факта:  
 вчера,  
 сквозь иней,  
 звеня в «Интернационале»,  
 Смольный  
 ринулся  
 к рабочим в Берлине.  
 И вдруг  
 увидели  
 деятели сыска,  
 все эти завсегдаги баров и опер,  
 триэтажный  
 призрак  
 со стороны российской.  
 Поднялся.  
 Шагает по Европе.  
 Обедающие не успели окончить обед —  
 в место это  
 грохнулся,  
 и над Аллеей Побед —  
 знамя  
 «Власть Советов».  
 Напрасно пухлые руки взмолены, —  
 не остановить в его неслышном карьере.  
 Раздавил  
 и дальше ринулся Смольный,  
 республик и царств беря барьеры.  
 И уже  
 из лоска  
 тротуарного глянца  
 Брюсселя,  
 натягивая нерв,  
 росла легенда  
 про Летучего голландца —  
 голландца революционеров.

А он —  
по полям Бельгии,  
по рыжим от крови полям,  
туда,  
где гудит союзное ржанье,  
метнулся.  
Красный встал над Парижем.  
Смокли парижане.  
Стоишь и сладостным маршем манишь.  
И вот,  
восстанию в лапы о́дана,  
рухнула республика,  
а он — за Ламанш.  
На площадь выводит подвалы Лондона.  
А после  
пароходы  
низко-низко  
над океаном Атлантическим видели —  
пронесся.  
К шахтерам калифорнийским.  
Говорят —  
огонь из зева выделил.  
Сих фактов оценки различна мерка.  
Не верили многие.  
Ловчились в спорах.  
А в пятницу  
утром  
вспыхнула Америка,  
землей казавшаяся, оказалась порох.  
И если  
скулит  
обывательская моль нам:  
— не увлекайтесь Россией, восторженные дети, —  
я  
указываю  
на эту историю со Смольным.  
А этому  
я,  
Маяковский,  
свидетель.

[1919]

С ТОВАРИЩЕСКИМ ПРИВЕТОМ,  
МАЯКОВСКИЙ

Дралось  
некогда  
греков триста  
сразу с войском персидским всем.  
Так и мы.

Но нас,  
 футуристов,  
 нас всего — быть может — семь.  
 Тех  
 нашли у истории в пылях.  
 Подсчитали  
 всех, кто сражен.  
 И поют  
 про смерть в Фермопилах.  
 Восхваляют, что лез на рожон.  
 Если петь  
 про залезших в щели,  
 меч подъявших  
 и павших от, —  
 как не петь  
 нас,  
 у мыслей в ущелье,  
 не сдаваясь, дерущихся год?  
 Слава вам!  
 Для посмертной лести  
 да не словит вас смерти лов.  
 Неуязвимые, лезьте  
 по скользящим скалам слов.

Пусть  
 хотя б по капле,  
 по́ две  
 ваши души в мир вольются  
 и растят  
 рабочий подвиг,  
 именуемый  
 «Р е в о л ю ц и я».  
 Поздравители  
 не хлопают дверью?  
 Им  
 от страха  
 небо в овчину?  
 И не надо.  
 Сотую —  
 верю! —  
 встретим годовщину.

[1919]

## МЫ ИДЕМ

Кто вы?  
 Мы  
 разносчики новой веры,  
 красоте задающей железный тон.  
 Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,  
 в небеса шарахаем железобетон.



Победители,  
шествуем по свету  
сквозь рев стариков злочущий.  
И всем,  
кто против,  
советуем  
следующий вспомнить случай.  
Раз  
на радугу  
кулаком  
замахнулся городской:  
— чего, мол, меня нарядней и чище! —  
а радуга  
вырвалась  
и давай  
опять сиять на полицейском кулачище.  
Коммунисту ль  
распластываться  
перед тем, кто старей?  
Беречь сохранность насиженных мест?  
Это революция  
и на Страстном монастыре  
начертила:  
«Не трудящийся не ест».  
Революция  
отшвырнула  
тех, кто  
рушащееся  
оплакивал тысячью родов,  
ибо знает:  
новый грядет архитектор —  
это мы,  
иллюминаторы завтрашних городов.  
Мы идем  
нерушимо,  
бодро.  
Эй, двадцатилетние!  
взываем к вам.  
Барабаня,  
тащите красок вёдра.  
Заново обкрасимся.  
Сияй, Москва!  
И пускай  
с газеты  
какой-нибудь выродок  
сражается с нами  
(не на смерть, а на живот).  
Всех младенцев перебили по приказу Ирода;  
а молодость,  
ничего —  
живет.

[1919]

## ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ!

Я знаю —  
не герои  
низвергают революций лаву.  
Сказка о героях —  
интеллигентская чушь!  
Но кто ж  
удержится,  
чтоб славу  
нашему не воспеть Ильичу?

Ноги без мозга — вздорны.  
Без мозга  
рукам нет дела.  
Металось  
во все стороны  
мира безголовое тело.  
Нас  
продавали на вырез.  
Военный вздымался вой.  
Когда  
над миром вырос  
Ленин  
огромной головой.  
И зéмли  
сели на óси.  
Каждый вопрос — прост.  
И выявилось  
два  
в хаóсе  
мира  
во весь рост.  
Один —  
животище на животище.  
Другой —  
непреклонно скалистый —  
влил в миллионы тыщи.  
Встал  
горой мускулистой.

Теперь  
не промахнемся мимо.  
Мы знаем кого — мети!  
Ноги знают,  
чьими  
трупами  
им идти.

Нет места сомненьям и воям.  
Долой улитье — «подождем»!  
Руки знают,  
кого им  
крыть смертельным дождем.

Пожарами землю дымя,  
 везде,  
 где народ исплѣнен,  
 взрывается  
 бомбой  
 имя:  
 Ленин!  
 Ленин!  
 Ленин!

И это —  
 не стихов вееру  
 обмахивать юбиляра уют. —

Я  
 в Ленине  
 мира веру  
 славаю  
 и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,  
 если б  
 не это пел —  
 в звездах пятиконечных небо  
 безмерного свода РКП.

[1920]

### НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

*(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева,  
 27 верст по Ярославской жел. дор.)*

В сто сорок солнц закат пылал,  
 в июль катилось лето,  
 была жара,  
 жара плыла —  
 на даче было это.  
 Пригорок Пушкино горбил  
 Акуловой горою,  
 а низ горы —  
 деревней был,  
 кривился крыш корою.  
 А за деревнею —  
 дыра,  
 и в ту дыру, наверно,  
 спускалось солнце каждый раз,  
 медленно и верно.  
 А завтра  
 снова  
 мир залить  
 вставало солнце а́ло.

И день за днем  
ужасно злить  
меня  
вот это  
стало.

И так однажды разозлясь,  
что в страхе все поблекло,  
в упор я крикнул солнцу:  
«Слазь!  
довольно шляться в пекло!»  
Я крикнул солнцу:  
«Дармоед!  
занежен в облака ты,  
а тут — не знай ни зим, ни лет,  
сиди, рисуй плакаты!»  
Я крикнул солнцу:  
«Погоди!  
послушай, златолобо,  
чем так,  
без дела заходить,  
ко мне  
на чай зашло бы!»  
Что я наделал!  
Я погиб!  
Ко мне,  
по доброй воле,  
само,  
раскинув луч-шаги,  
шагает солнце в поле.  
Хочу испуг не показать —  
и ретируюсь задом.  
Уже в саду его глаза.  
Уже проходит садом.  
В окошки,  
в двери,  
в щель войдя,  
валилась солнца масса,  
ввалилось;  
дух переведа,  
заговорило басом:  
«Гоню обратно я огни  
впервые с сотворенья.  
Ты звал меня?  
Чай гони,  
гони, поэт, варенье!»  
Слеза из глаз у самого —  
жара с ума сводила,  
но я ему —  
на самовар:  
«Ну что ж,  
садись, светило!»

Черт дернул дерзости мои  
орать ему, —  
skonфужен,  
я сел на уголок скамьи,  
боюсь — не вышло б хуже!  
Но странная из солнца ясь  
струилась, —  
и степенность  
забыв,  
сiju, разговорясь  
с светилом постепенно.  
Про то,  
про это говорю,  
что-де заела Роста,  
а солнце:  
«Ладно,  
не горюй,  
смотри на вещи просто!  
А мне, ты думаешь,  
светить  
легко?  
— Поди, попробуй! —  
А вот идешь —  
взялось идти,  
идешь — и светишь в оба!»  
Болтали так до темноты —  
до бывшей ночи то есть.  
Какая тьма уж тут?  
На «ты»  
мы с ним, совсем освоюсь.  
И скоро,  
дружбы не тая,  
бью по плечу его я.  
А солнце тоже:  
«Ты да я,  
нас, товарищ, двое!  
Пойдем, поэт,  
взорим,  
вспоем  
у мира в сером хламе.  
Я буду солнце лить свое,  
а ты — свое,  
стихами».  
Стена теней,  
ночей тюрьма  
под солнц двустволкой пала.  
Стихов и света кутерьма —  
сияй во что попало!  
Устанет то,  
и хочет ночь

прилечь,  
 тупая сонница.  
 Вдруг — я  
 во всю светаю мочь —  
 и снова день трезвонится.  
 Светить всегда,  
 светить везде,  
 до дней последних донца,  
 светить —  
 и никаких гвоздей!  
 Вот лозунг мой —  
 и солнца!

[1920]

### ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ

Этот вечер решал —  
 не в любовники выйти ль нам? —  
 темно,  
 никто не увидит нас.  
 Я наклонился действительно,  
 и действительно  
 я,  
 наклонясь,  
 сказал ей,  
 как добрый родитель:  
 «Страсти крут обрыв —  
 будьте добры,  
 отойдите.  
 Отойдите,  
 будьте добры».

[1920]

### ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ

Молнию метнула глазами:  
 «Я видела —  
 с тобой другая.  
 Ты самый низкий,  
 ты подлый самый...» —  
 И пошла,  
 и пошла,  
 и пошла, ругая.  
 Я ученый малый, милая,  
 громыханья оставьте ваши.  
 Если молния меня не убила —  
 то гром мне  
 ей-богу не страшен.

[1920]

## ГОРЕ

Тщетно отчаянный ветер  
 бился нечеловече.  
 Капли чернеющей крови  
 стыннут крышами кровель.  
 И овдовевшая в ночи  
 вышла луна одиночить.

[1920]

\* \* \*

Портсигар в траву  
 ушел на треть.  
 И как крышка  
 блестит,  
 наклонились смотреть  
 муравьишки всяческие и травишка.  
 Обабдело дивились  
 выкрутас монограмме,  
 дивились сиявшему серебром  
 полированным,  
 не стоившие со своими морями и горами  
 перед делом человеческим  
 ничего ровно.  
 Было в диковинку,  
 слепило зрение им,  
 ничего не видевшим этого рода.  
 А портсигар блеснул  
 в окружающее с презрением:  
 — Эх, ты, мол,  
 природа!

[1920]

## III ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Мы идем  
 революционной лавой.  
 Над рядами  
 флаг пожаров ал.  
 Наш вождь —  
 миллионноглавый  
 Третий Интернационал.

В стены столетий  
 воль вал  
 бьет Третий  
 Интернационал.

Мы идем.  
 Рядов разливу нет истока.

Волгам красных армий нету устья.  
 Пояс красных армий,  
 к западу  
 с востока  
 опоясав землю,  
 полюсами пустим.

Нации сети.  
 Мир мал.  
 Ширься, Третий  
 Интернационал!

Мы идем.  
 Рабочий мира,  
 слушай!  
 Революция идет.  
 Восток в шагах восстаний.  
 За Европой  
 океанами пройдет, как сушей.  
 Красный флаг  
 на крыши ньюйоркских зданий.

В новом свете  
 и в старом  
 ал  
 будет  
 Третий  
 Интернационал.

Мы идем.  
 Вставайте, цветнокожие колоний!  
 Белые рабы империй —  
 встаньте!  
 Бой решит —  
 рабочим властвовать у мира в лоне  
 или  
 войнами звереть Антанте.

Те  
 или эти.  
 Мир мал.  
 К оружию,  
 Третий  
 Интернационал!

Мы идем!  
 Штурмуем двери рая.  
 Мы идем.  
 Пробили дверь другим.  
 Выше, наше знамя!  
 Серп,  
 огнем играя,  
 обнимайся с молотом радугой дуги.



В двери эти!  
Стар и мал!  
Вселенься, Третий  
Интернационал!

[1920]

## ВСЕМ ТИТАМ И ВЛАСАМ РСФСР

По хлебным пусть местам летит,  
пусть льется песня басом.  
Два брата жили. Старший Тит  
жил с младшим братом Власом.

Был у крестьян у этих дом  
превыше всех домишек.  
За домом был амбар, и в нем  
всегда был хлеба лишек.

Был младший, Влас, умен и тих.  
А Тит был глуп, как камень.  
Изба раз расплозлась у них,  
пол гнется под ногами.

«Смерть без гвоздей, — промолвил Тит,  
хоша мильон заплотишь,  
не то, что хату сколотить,  
и гроб не заколотишь».

Тит горько плачет без гвоздей,  
а Влас обдумал случай  
и рек: «Чем зря искать везде,  
езжай, брат, в город лучше».

Телега молнией летит.  
Тит снарядился скоро.  
Гвоздей достать поехал Тит  
в большой соседний город.

Приехал в этот город Тит  
и с грустью смотрит сильной:  
труба чего-то не копит  
над фабрикой гвоздильной.

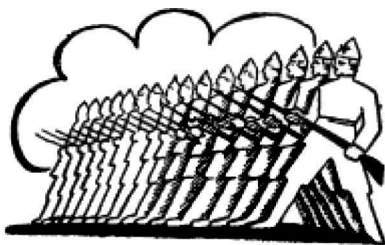
Вбегает за гвоздями Тит,  
но в мастерской холодной  
рабочий зря без дел сидит.  
«Я, — говорит, — голодный.

Дай, Тит, рабочим хлеб займы,  
мы здесь сидим не жравши,  
а долг вернем гвоздями мы  
крестьянам, хлеба давшим».

Взъярился Тит: «Не дам, не дам  
я хлеба дармоеду.



красных армий  
 Чтоб вовеки ряды крепи!  
 не смел  
 никакой Керзон  
 брать на пушку,  
 горланить ноты, —  
 даже землю паша,  
 помни сабельный звон,  
 помни марш  
 атакующей  
 роты.  
 Молодцом на коня боевого влазь,  
 по земле пехотинься пеший.  
 С неба землю всю глазами оглазь,  
 на железного коршуна  
 севши.  
 Мир пока,  
 но на страже красных годов  
 стой на нашей  
 красной вышке.  
 Будь смел. Будь умел. Будь  
 всегда готов  
 первым  
 ринуться в первой вспышке,  
 Кто из вас не крещен  
 военным огнем,  
 кто считает, что шкурнику  
 лучше?  
 Прочитай про это,  
 подумай о нем,  
 вникни в этот сказочный случай.



Защищая рабоче-крестьянскую Русь,  
 встали фронтами  
 красноармейцы.

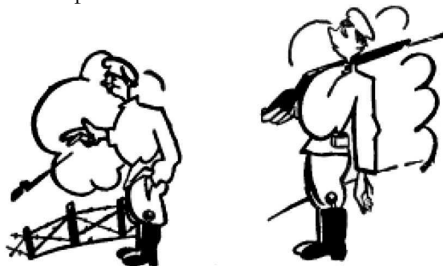
Но — как в стаде овца паршивая — трус  
 и меж их рядами имеется.  
 Жил в одном во полку Силверст Рябой.  
 Голова у Рябого — пробкова.  
 Чуть пойдет наш полк против белых в бой,  
 а его и не видно, робкого.



Дело ясное:  
 бьется рать,  
 горяча,



против барско-буржуйского ига.  
 У Рябого ж слово одно:  
 «Для ча буду я на рожон прыгать?»



Встал стеною полк,  
фронт раскинул  
свой.

Силеверст  
стоит в карауле.



Поднимает  
пуля за пулей  
вой.

Силеверст  
испугался пули.

Дома  
печь да щи.

Замечтал  
Силеверст.



Бабья  
рожа  
встала  
из воздуха.

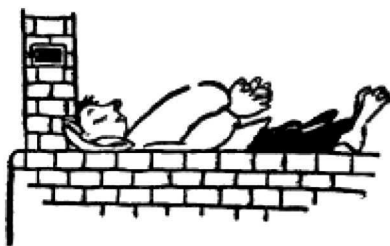


Да как дернет Рябой!  
Чуть не тыщу верст  
пробежал  
без единого  
роздыха.

Вот и холм, и там и дом за холмом,  
 будет дома в скором времечке.  
 Вот и холм пробежал, вот плетень и дом,  
 вот жена его лускает семечки.



Прибежал, пошел лобызаться с женой,  
 чаю выдул — стаканов до тыщи:



задремал, заснул и храпит, как Ной, —  
 с ГПУ, и то не сыщешь.



А на фронте враг видит:  
 полк с дырой,

враг  
     пролазит  
         щелью этою.  
 А за ним  
     и золотозадый  
         рой  
 лезет в дырку,  
     блестит эполетою.



Поп,  
     урядник — сивуха  
         течет по усам,  
 с ним — петля  
     и прочие вещи.  
 Между ними — царь, самодержец сам,  
 за царем — кулак  
     да помещик.



Лезут,  
     в радости,  
         аж не чувят ног,  
 где  
     и сколько занято мест ими?!  
 Пролетария  
     гнут в бараний рог,  
 сыпят  
     в спину крестьян  
         манифестами.  
 Отошла  
     земля  
         к живоглотам  
                 назад,  
 наложили  
     наложница  
         тяжкие.



Лишь свистит в урядничьей ручке лоза́ —  
 знай, всыпает и в спину и в ляжки.



Улизнувшие бары едут в дом.



Мчит буржуй.  
 Не видали три года, никак.



Снова школьника поп обучает крестом —



уважать заставляет  
 В то село пришли, угодников.  
 где храпел  
 Видят — Силеверст.  
 выглядит  
 дом  
 аккуратненько.



Тычет  
 в хату Рябого исправничий  
 перст,  
 посылает занять урядника.  
 урядника.



Дурню  
 снится сон:  
 де в раю живет  
 и галушки  
 лопает тыщами.  
 Вдруг  
 как хватит  
 его  
 крокодила  
 за живот!



То урядник <sup>хватил</sup>  
 хватил сапожищами.



«Как ты смеешь спать, такой рассякой,  
 мать твою растак да раззтак!  
 Я тебя запорю, я тебя засеку  
 и повешу тебя напоследок!» —  
 «Барин!» — взывал Силеверст, а его  
 кнутом



хватить помещик по сытой роже.  
 «Подавай и себя, и поля, и дом,  
 и жену помещику, тоже!»  
 И пошел прошибать Силеверста пот,  
 вновь припомнил барщины муку,



а жена его на дворе  
грудью кормит у господ  
барскую суку.



Сей истории прост и ясен сказ,—  
посмотри, как наказаны дурни;



чтобы то же не струсилось и у вас, —  
да не будет меж вами шкурник.  
Нынче сына даем не царям на зарез, —  
за себя этот бо́ище начат.  
Провожая рекрутов молодолес,  
провожай поя, а не плача.  
Чтоб помещики вновь не взнуздали вас,  
не в пример Силеверсту-бедняге, —  
провожая сынов, давайте наказ:  
будьте верными красной присяге.

[1920—1923]

РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ  
ТОЛКОВАЛА БЕЗ ВСЯКОГО УМА

*Старая, но полезная история*

Врангель прет.  
Отходим мы.  
Врангелю удача.  
На базаре  
    две кумы,  
вставши в хвост, судачат:  
— Кум сказал, —  
    а в ём ума —  
я-то куму верю, —  
что барон-то,  
    слышь, кума,  
меж Москвой и Тверью.  
Чуть не даром  
    все  
    в Твери  
стало продаваться.  
Пуд крупчатки..  
    — Ну,  
    не ври! —  
пуд за рупь за двадцать.  
— А вина, скажу я вам!  
Дух над Тверью водочный.  
Пьяных  
    лично  
    по домам  
водит околоточный.  
Влюблены в барона власть  
левые и правые.  
Ну, не власть, а прямо сласть,  
просто — равноправие.

Встали, ртом лова ворон.  
Скоро ли примчится?  
Скоро ль будет царь-барон  
и белая мучица?

Шел волшебник мимо их.  
— Ну́, — сказал он бабе, —  
сороходы-сапоги,  
к Врангелю зашла бы! —  
В миг обувшись,  
    шага в три  
в Тверь кума на это.  
Кум сбрехнул ей:  
    во Твери  
власть стоит советов.



(Бледность мелом в рожке.)  
 Наш-то рупь не в той цене,  
 наш в миллион дороже. —  
 Завопил хозяин лют:  
 — Знаешь разницу валют?!  
 Беспортошных нету тут,  
 генералы тута пьют! —  
 Возопил хозяин в яри:  
 — Это, тетка, что же!  
 Этак  
     каждый пролетарий  
 жрать захочет тоже. —  
 — Будешь знать, как есть и пить! —  
 все забыли в злости.  
 Стал хозяин тетку бить,  
 метрдотель  
     и гости.

Околоточный  
     на шум  
 прибежал из части.  
 Взыла баба:  
     — Ой,  
         прошу,  
 защитите, власти! —  
 Как подняла власть сия  
 с шпорой сапожища...  
 Как полезла  
     МИГОМ  
         вся  
 вспячь  
     из бабы пища.

— Много, — молвит, — благ в Крыму  
 только для буржуя,  
 а тебя,  
     мою куму,  
 в часть препровожу я. —  
 Влезла  
     тетка  
         в скороход  
 пред тюремной дверью,  
 как задала тетка ход —  
 в Эрэсэфэсэрю.

Бабу видели мою,  
 наши обыватели?  
 Не хотите  
     в том раю  
 сами побывать ли?!

[1920]

СКАЗКА ДЛЯ ШАХТЕРА-ДРУГА  
ПРО ШАХТЕРКИ, ЧУНИ И КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

Раз шахтеры  
шахты близ  
распустили нони:  
мол, шахтерки продрались,  
обносились чуни.  
Мимо шахты шел шептун.  
Втерся тихим вором.  
Нищету увидев ту,  
речь повел к шахтерам:  
«Большевицкий этот рай  
хуже, дескать, ада.  
Нет сапог, а уголь дай.  
Бастовать бы надо!  
Что за жизнь, — не жизнь, а гроб...»  
Вдруг  
забойщик ловкий  
шептуна  
с помоста сгреб,  
вниз спустил головкой.  
«Слово мне позвольте взять!  
Брось, шахтер, надежды!  
Если будем так стоять, —  
будем без одежды.  
Не сошьет сапожки бог,  
не обует ноженьки.  
Настоишься без сапог,  
помощь ждя от боженьки.  
Чтоб одели голяков,  
фабрик нужен ряд нам.  
Дашь для фабрик угольков, —  
будешь жить нарядным.  
Эй, шахтер, куда ни глянь,  
от тепла до света,  
даже пища от угля —  
от угля все это.  
Даже с хлебом будет туго,  
если нету угля.  
Нету угля —  
нету плуга.  
Пальцем вспашешь луг ли?  
Что без угля будешь есть?  
Чем еду посолишь?  
Чем хлеба́ и соль привезть  
без угля изволишь?  
Вся страна разорена.  
Где ж работать было,  
если силой всей она  
вражьей силы била?





Я, конечно, сказку сплел,  
но скажу для друга:  
будет вправду это все,  
если будет уголь!

[1921]

## ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, красноезвездный герой!  
Землю кровью вымыв,  
во славу коммуны,  
к горе за горой  
шедший твердынями Крыма.  
Они проползали танками рвы,  
выпятив пушек шен, —  
телами рвы заполняли вы,  
по трупам перейдя перешесек,  
Они  
за окопами взрыли окоп,  
хлестали свинцовой рекою, —  
а вы  
отобрали у них Перекоп  
чуть не голой рукою.  
Не только тобой завоеван Крым  
и белых разбита орава, —  
удар твой двойной:  
завоевано им  
трудиться великое право.  
И если  
в солнце жизнь суждена  
за этими днями хмурыми,  
мы знаем —  
вашей отвагой она  
взята в перекопском штурме.  
В одну благодарность сливаем слова  
тебе,  
красноезвездная лава.  
Во веки веков, товарищи,  
вам —  
слава, слава, слава!

[1920—1921]

## О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,  
им  
довольно воздали дани.  
Теперь  
поговорим  
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.  
 Подернулась тиной советская мешанина.  
 И вылезло  
 из-за спины РСФСР  
 мушло  
 мешанина.

(Меня не поймаете на слове,  
 я вовсе не против мешанского сословия.  
 Мещанам  
 без различия классов и сословий  
 мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,  
 с первого дня советского рождения  
 стеклись они,  
 наскоро оперенья переменив,  
 и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,  
 крепкие, как умывальники,  
 живут и поныне —  
 тише воды.  
 Свили уютные кабинеты и спальни.

И вечером  
 та или иная мразь,  
 на жену,  
 за пианином обучающуюся, глядя,  
 говорит,  
 от самовара разморясь:  
 «Говарищ Надя!  
 К празднику прибавка —  
 24 тыщи.  
 Тариф.  
 Эх,  
 и заведу я себе  
 тихоокеанские галифища,  
 чтоб из штанов  
 выглядывать  
 как коралловый риф!»  
 А Надя:  
 «И мне с эмблемами платя.  
 Без серпа и молота не покажешься в свете!  
 В чем  
 сегодня  
 буду фигурировать я  
 на балу в Реввоенсовете?!»  
 На стенке Маркс.  
 Рамочка ала.  
 На «Известиях» лежа, котенок греется.  
 А из-под потолочка  
 верещала  
 оголтелая канарейца.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...  
И вдруг  
разинул рот,  
да как заорет:  
«Опутали революцию обывательщины нити.

Страшнее Врангеля обывательский быт.  
Скорее  
головы канарейкам сверните —  
чтоб коммунизм  
канарейками не был побит!»

[1920—1921]

## НЕРАЗБЕРИХА

Лубянская площадь.  
На площади той,  
как грешные верблюды в конце мира,  
орут папиросники:  
«Давай, налетай!  
«Мурсал» рассыпной!  
Пачками «Ира»!

Никольские ворота.  
Часовня у ворот.  
Пропахла ладаном и елеем она.  
Тиха,  
что воды набрала в рот,  
часовня святого Пантелёймона.

Против Никольских — Наркомвнудел.  
Дела и люди со дна до крыши.  
Гремели двери,  
авто дудел.  
На площадь чекист из подъезда вышел.  
«Комиссар!!» — шепнул, увидев  
наган,  
мальчишка один,  
юркий и скользкий,  
а у самого  
на Лубянской одна нога,  
а другая —  
на Никольской.

Чекист по делам на Ильинку шел,  
совсем не в тот  
и не из того отдела, —  
весь день гонял,  
устал как вол.  
И вообще —  
какое ему до этого дело?!  
Мальчишка  
с перепугу  
в часовню шасть.

Конспиративно закрестились папиросники.  
Набились,  
аж яблоку негде упасть!

Возрадовались святители,  
апостолы  
и постники.

Дивится Пантелѣймон:  
— Уверовали в бога! —

Дивится чекист:

— Что они,  
очумели?! —

Дивятся мальчишки:  
— Унесли, мол, ноги! —

Наудивлялись все,  
аж успокоились еле.

И вновь по-старому.

В часовне тихо.

Чекист по улицам гоняет лих.

Черт его знает какая неразбериха!

А сколько их,  
таких неразберих?!  
*[1921]*

## ДВА НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫХ СЛУЧАЯ

Ежедневно  
как вол жуя,  
стараясь за строчки драть, —  
я  
не стану писать про Поволжье:  
про ЭТО —  
страшно врать.  
Но я голодал,  
и тысяч лучше я  
знаю проклятое слово — «голодные!»  
Вот два,  
не совсем обычные, случая,  
на ненависть к голоду самые годные.

Первый. —  
Кто из петербуржцев  
забудет 18-й год?!  
Наддохлым лошадем вороны кружатся.  
Лошадь за лошадью падает на лед.  
Заколачиваются улицы ровные.  
Хвостом виляя,  
на перекрестках  
собаки дрессированные  
просили милостыню, визжа и лая.  
Газетам писать не хватало духу —  
но это ж передавалось изустно:

старик  
удушил  
жену-старуху  
и ел частями.  
Злился —  
невкусно.  
Слухи такие  
и мрущим от голода,  
и сытым сумели глотки свесть.  
Из каждой поры огромного города  
росло ненасытное желание есть.  
От слухов и голода двигаясь еле,  
раз  
сам я,  
с голодной тоской,  
остановился у витрины Эйлерса —  
цветочный магазин на углу Морской.  
Малы — аж не видно! — цветочные точки,  
нули ж у цен  
необъятны длиною!  
По булке должно быть в любом лепесточке.  
И вдруг,  
смотрю,  
меж витриной и мною —  
фигурка человечья.  
Идет и валится.  
У фигурки конская голова.  
Идет.  
И в собственные ноздри  
пальцы  
воткнула.  
Три или два.  
Глаза открытые мухи обсели,  
а сбоку  
жила из шеи торчала.  
Из жилы  
капли по улицам сеялись  
и стыли чернó, кровянея сначала.  
Смотрел и смотрел на ползущую тень я,  
дрожа от сознания невыносимого,  
что полуживотное это —  
виденье! —  
что это  
людей вымирающих символ.  
От этого ужаса я — на попятный.  
Ищу машинально чернеющий след.  
И к туше лошажьей приплелся по пятнам.  
Где ж голова?  
Головы и нет!  
Аazole  
с каплями крови присохлой,  
блестел вершок перочинного ножичка —

должно быть,  
тот  
работал над дохлой  
и толстую шею кромсал понемножечко.  
Я понял:  
не символ,  
стихом позолоченный,  
людская  
реальная тень прошагала.  
Быть может,  
завтра  
вот так же точно  
я здесь заработаю, скалясь шакалом.

Второй. —  
Из мелочи выросло в это.  
Май стоял.  
Позапрошлое лето.  
Весною ширишь ноздри и рот,  
ловя бульваров дыханье липовое.  
Я голодал,  
и с другими  
в черед  
встал у бывшей кофейни Филиппова я.  
Лет пять, должно быть, не был там,  
а память шепчет еле:  
«Тогда  
в кафе  
журчал фонтан  
и плавали форели».  
Вдуваемый памятью рос аппетит;  
какой ни на есть,  
но по крайней мере —  
обед.  
Как медленно время летит!  
И вот  
я втиснут в кафеинные двери.  
Сидели  
с селедкой во рту и в посуде,  
в селедке рубахи,  
и воздух в селедке.  
На черта ж весна,  
если с улиц  
люди  
от лип  
сюда влипают все-таки!  
Едят,  
дрожа от голода голого,  
вдыхают радостью душище едкий,  
а нищие молят:  
подайте головы.  
Дерясь, получают селедок обедки.

Кто б вспомнил народа российского имя,  
когда б не бросали хребты им в горсточки?!  
Народ бы российский  
сегодня же вымер,  
когда б не нашлось у селедки косточки.  
От мысли от этой  
сквозь грызшихся кучку,  
грома кулаком по ораве зверьей,  
пробился,  
схватился,  
дернул за ручку —  
и выбег,  
селедкой обмазан —  
об двери.

Не знаю,  
душа пропахла,  
рубаха ли,  
какими водами дух этот смою?

Полгода  
звезды селедкою пахли,  
лучи рассыпая гнилой чешуею.

Пуškai,  
полусытый,  
доволен я нынче:  
так, может, и кончусь, голод не видя, —  
к нему я  
ненависть в сердце вынянчил,  
превыше всего его ненавида.  
Подальше прочую чушь забрось,  
когда человека голодом сводит.  
Хлеб! —  
вот это земная ось:  
на ней вертеться и нам, и свободе.  
Пусть бабы баранки на Трубной нижут,  
и ситный лари Смоленского ломит, —  
я день и ночь Поволжье вижу,  
солому жующее, лежа в соломе.

Трубите ж о голоде в уши Европе!  
Делитесь и те, у кого немного!  
Крестьяне,  
ройте пашен окопы!  
Стреляйте в него  
мешками налога!  
Гоните стихом!  
Тесните пьесой!  
Вперед врачей целебных взводь!  
Давите его дымовою завесой!  
В атаку, фабрики!  
В ногу, заводы!

А если  
воплю голодных не внемлешь, —  
чужды чужие голод и жажда вам, —  
он  
завтра  
нагрянет на наши земли ж  
и встанет здесь  
за спиною у каждого!

[1921]

СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ,  
О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ

Сапоги почистить — 1 000 000.  
Состояние!  
Раньше б дом купил —  
и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.  
Даже до луны расстояние  
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт  
писать один отчет.  
«Что это такое?» —  
спрашивает с тоскою  
машинистка.  
Ну, что отвечу ей?!  
Черт его знает, что это такое,  
если сзади  
у него  
тридцать семь нулей.  
Недавно уверяла одна дура,  
что у нее  
тридцать девять тысяч семь сотых температура.  
Так привыкли к таким числам,  
что меньше сажени число и не мыслим.  
И нам,  
если мы на митинге ревом,  
рамки арифметики, разумеется, узки —  
все разрешаем в масштабе мировом.  
В крайнем случае — масштаб общерусский.  
«Электрификация!» — масштаб всероссийский.  
«Чистка!» — во всероссийском масштабе.  
Кто-то  
даже,  
чтоб избежать переписки,  
предлагал —  
сквозь землю  
до Вашингтона кабель.

Иду.  
Мясницкая.



Ночь глуха.  
 Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.  
 Сзади с тележкой баба.  
 С вещами  
 на Ярославский  
 хлюпает по ухабам.  
 Сбивают ставшие в хвост на галоши;  
 то грузовик обдаст,  
 то лошадь.  
 Балансируя  
 — четырехлетний навык! —  
 тащусь меж канавиц,  
 канав,  
 канавок.  
 И то  
 — на лету вспоминая маму —  
 с размаху  
 у почтамта  
 плюхаюсь в яму.  
 На меня тележка.  
 На тележку баба.  
 В грязи ворочаемся с боку на́ бок.  
 Что бабе масштаб грандиозный наш?!  
 Бабе грязью обдало рыло,  
 и баба,  
 взбираясь с этажа на этаж,  
 сверху  
 и меня  
 и власти крыла.  
 Правдив и свободен мой вещий язык  
 и с волей советскою дружен,  
 но, натолкнувшись на эти низы,  
 даже я запнулся, сконфужен.  
 Я  
 на сложных агитвопросах рос,  
 а вот  
 не могу объяснить бабе,  
 почему это  
 о грязи  
 на Мясницкой  
 вопрос  
 никто не решает в общемясницком масштабе?!  
 [1921]

## ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ

Это вам —  
 упитанные баритоны —  
 от Адама  
 до наших лет,  
 потрясающие театрами именуемые притоны  
 ариями Ромеов и Джульетт.

Это вам —  
пентры,  
раздобревшие, как кони,  
жрущая и ржущая России краса,  
прячущаяся мастерскими,  
по-старому драконя  
цветочки и телеса.

Это вам —  
прикрывшиеся листиками мистики,  
лбы морщинками изрыв —  
футуристки,  
имажинистики,  
акмеистики,  
запутавшиеся в паутине рифм.  
Это вам —  
на растрепанные сменившим  
гладкие прически,  
на лапти — лак,  
пролеткультцы,  
кладущие заплатки  
на вылинявший пушкинский фрак.

Это вам —  
пляшущие, в дуду дующие,  
и открыто предающиеся,  
и грешащие тайком,  
рисующие себе грядущее  
огромным академическим пайком.  
Вам говорю  
я —  
гениален я или не гениален,  
бросивший безделушки  
и работающий в Росте,  
говорю вам —  
пока вас прикладами не прогнали:  
Бросьте!  
Бросьте!  
Забудьте,  
плюньте  
и на рифмы,  
и на арии,  
и на розовый куст,  
и на прочие мелехлюндии  
из арсеналов искусств.  
Кому это интересно,  
что — «Ах, вот бедненький!  
Как он любил  
и каким он был несчастным...»?  
Мастера,  
а не длинноволосые проповедники  
нужны сейчас нам.

Слушайте!  
Паровозы стонут,  
дует в щели и в пол:  
«Дайте уголь с Дону!  
Слесарей,  
механиков в депо!»

У каждой реки на истоке,  
лежа с дырой в боку,  
пароходы провыли доки:  
«Дайте нефть из Баку!»

Пока канителюм, спорим,  
смысл сокровенный ища:  
«Дайте нам новые формы!» —  
несется вопль по вешам.

Нет дураков,  
жда, что выйдет из уст его,  
стоять перед «маэстрадами» толпой разинь.  
Товарищи,  
дайте новое искусство —  
такое,  
чтобы выволочь республику из грязи.

[1921]



## СТИХОТВОРЕНИЯ 1922—1925 ГОДОВ

### ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,  
вижу каждый день я:  
кто в глав,  
кто в ком,  
кто в полит,  
кто в просвет,  
расходится народ в учрежденья.  
Обдают дождем дела бумажные,  
чуть войдешь в здание:  
отобрав с полсотни —  
самые важные! —  
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:  
«Не могут ли аудиенцию дать?  
Хожу со времени она». —  
«Товарищ Иван Ваньч ушли заседать —  
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.  
Свет не мил.  
Опять:  
«Через час велели придти вам.  
Заседают:  
покупка склянки чернил  
Губкооперативом».

Через час:  
ни секретаря,  
ни секретарши нет —  
голо!  
Все до 22-х лет  
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,  
на верхний этаж семиэтажного дома.  
«Пришел товарищ Иван Ваньч?» —  
«На заседании  
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,  
 на заседание  
 врываюсь лавиной,  
 дикие проклятья дорóгой изрыгая.  
 И вижу:  
 сидят людей половины.  
 О дьявольщина!  
 Где же половина другая?  
 «Зарезали!  
 Убили!»  
 Мечусь, оря́.  
 От страшной картины свихнулся разум.  
 И слышу  
 спокойнейший голосок секретаря:  
 «Они на двух заседаниях сразу.  
 В день  
 заседаний на двадцать  
 надо успеть нам.  
 Поневоле приходится раздвояться.  
 До пояса здесь,  
 а остальное  
 там».  
 С волнения не уснешь.  
 Утро раннее.  
 Мечтой встречаю рассвет ранний:  
 «О, хотя бы  
 еще  
 одно заседание  
 относительно искоренения всех заседаний!»

[1922]

СПРОСИЛИ РАЗ МЕНЯ: «ВЫ ЛЮБИТЕ ЛИ НЭП?» —  
 «ЛЮБЛЮ, — ОТВЕТИЛ Я, — КОГДА ОН НЕ НЕЛЕП»

Многие товарищи повесили нос.  
 — Бросьте, товарищи!  
 Очень не умно-с.  
 На арену!  
 С купцами сражаться иди!  
 Надо счётами бить учиться.  
 Пусть «всерьез и надолго»,  
 но там,  
 впереди,  
 может новый Октябрь случиться.  
 С Адама буржую пролетарий не мил.  
 Но раньше побаивался —  
 как бы не сбросили;  
 хамил, конечно,  
 но в меру хамил —

а то  
революций не оберешься после.

Да и то  
в Октябре  
пролетарская голь  
из-под ихнего пуза-груза —  
продралась  
и загна́ла осиновый кол  
в кругосветное ихнее пузо.

И вот,  
Вечкой,  
Эмчекою вынянчена,  
вчера пресмыкавшаяся тварь еще —  
трехэтажным «нэпом» улюлюкает нынче нам:  
«Погодите, голубчики!  
Попались, товарищи!»

Против их  
инженерски-бухгалтерских числ  
не попрешь, с винтовкою выйдя.  
Продувным арифметикам ихним учись —  
стиснув зубы  
и ненавидя.

Великолепен был буржуазный Лоренцо.  
Разве что  
с шампанского очень огорчится —  
возьмет  
и выкинет коленце:  
нос  
— и только! —  
вымажет горчицей.

Да и то  
в Октябре  
пролетарская голь,  
до хруста зажав в кулаке их, —  
объявила:  
«Не буду в лакеях!»  
Сегодня,  
изголодавшиеся сами,  
им открывая двери «Гротеска»,  
знаем —  
всех нас  
горчицами,  
соусами  
смажут сначала:  
«НЭП» — дескать.

Вам не нравится с вымазанной рожей?  
И мне — тоже.

Не нравится-то, не нравится,  
а черт их знает,  
как с ними справиться.

Раньше  
был буржуй  
и жирен  
и толст,  
драл на сотню — сотню,  
на тыщи — тыщи.  
Но зато,  
в «Мерилизах» тебе  
и пальто-с,  
и гвоздишки,  
и сапожищи.

Да и то  
в Октябре  
пролетарская голь  
попросила:  
«Убираться изволь!»

А теперь буржуазия!  
Что делает она?  
Ни тебе сапог,  
ни ситец,  
ни гвоздь!  
Она —  
из мухи делает слона  
и после  
продает слоновую кость.

Не нравится производство кости слонячей?  
Производи иначе!  
А так сидеть и «благородно» мучиться —  
из этого ровно ничего не получится.

Пусть  
от мыслей торгашских  
морщины — ров.

В мозг вбирай купцовский опыт!  
Мы  
еще  
услышим по странам миров  
революций радостный топот.

[1922]

### СВОЛОЧИ!

Гвоздимые строками,  
стойте нёмы!  
Слушайте этот волчий вой,  
еле прикидывающийся поэмой!

Дайте сюда  
 самого жирного,  
 самого плешивого!  
 За шиворот!  
 Ткну в отчет Помгола.  
 Смотри!  
 Видишь —  
 за цифрой голой...

Ветер рванулся.  
 Рванулся и тише...  
 Снова снегами огрёб  
 тысяче-  
 миллионно-крыший  
 волжских селений гроб.  
 Трубы —  
 гробовые свечи.  
 Даже вóроны  
 исчезают,  
 чуя,  
 что, дымясь,  
 тянется  
 слащавый,  
 тошнотворный  
 дух  
 зажариваемых мяс.  
 Сына?  
 Отца?  
 Матери?  
 Дочери?  
 Чья?!  
 Чья в людоедчестве очередь?!.

Помощи не будет!  
 Отрезаны снегами.  
 Помощи не будет!  
 Воздух пуст.  
 Помощи не будет!  
 Под ногами  
 даже глина сожрана,  
 даже куст.

Нет,  
 не помогут!  
 Надо сдаваться.  
 В 10 губерний могилу вы́меряйте!  
 Двадцать  
 миллионов!  
 Двадцать!  
 Ложитесь!  
 Вымрите!..

Только одна,  
 осипшим голосом,



сумасшедшие проклятия метелями меля,  
рек,  
дорог снеговые волосы  
ветром рвя, рыдает земля.

Хлеба!  
Хлебушка!  
Хлебца!

Сам смотрящий смерть воочию,  
еле едящий,  
только б не сдох, —  
тянет город руку рабочую  
горстью сухих крох.

«Хлеба!  
Хлебушка!  
Хлебца!»  
Радио ревет за все границы.  
И в ответ  
за нелепицей нелепица  
сыплется в газетные страницы.

«Лондон.  
Банкет.  
Присутствие короля и королевы.  
Жрущих — не вместишь в раззолоченные хлевы».

Будьте прокляты!  
Пусть  
за вашей головою вѣнчанной  
из колоний  
дикари придут,  
питаемые человечиною!  
Пусть  
горят над королевством  
бунтов зарева!  
Пусть  
столицы ваши  
будут выжжены дотла!  
Пусть из наследников,  
из наследниц варево  
варится в коронах-котлах!

«Париж.  
Собрались парламентарии.  
Доклад о голоде.  
Фритиоф Нансен.  
С улыбкой слушали.  
Будто соловьиные арии.  
Будто тѣнора слушали в модном романсе».

Будьте прокляты!  
Пусть  
вовек

вам  
не слышать речи человеческой!  
Пролетарий французский!  
Эй,  
стягивай петлею вместо речи  
толщ непроходимых шей!

«Вашингтон.  
Фермеры,  
досевшие,  
допившие  
до того,  
что лебедками подымают пузы,  
в океане  
пшеницу  
от излишества топившие, —  
топят паровозы грузом кукурузы».

Будьте прокляты!  
Пусть  
ваши улицы  
бунтом будут запружены.  
Выбрав  
место, где более больно,  
пусть  
по Америке —  
по Северной,  
по Южной —  
гонят  
брюх ваших  
мячище футбольный!

«Берлин.  
Оживает эмиграция.  
Банды радуются:  
с голодными драться им.  
По Берлину,  
закручивая усйки,  
ходят,  
хвастаются:  
— Патриот!  
Русский! —

Будьте прокляты!  
Вечное «вон!» им!  
Всех отвращая иудым видом,  
французского золота преследуемые звоном,  
скитайтесь чужбинами Вечным жидом!  
Леса российские,  
соберитесь все!  
Выберите по самой большой осине,  
чтоб образ ихний

вечно висел,  
под самым небом качался, синий.

«Москва.  
Жалоба сборщицы:  
в «Ампирах» морщатся  
или дадут  
тридцатирублевку,  
вышедшую из употребления в 1918 году».

Будьте прокляты!  
Пусть будет так,  
чтоб каждый проглоченный  
глоток  
желудок жёг!  
Чтоб ножницами оборачивался бифштекс сочный,  
вспарывая стенки кишок!

Вымрет.  
Вымрет 20 миллионов человек!  
Именем всех упокоенных тут —  
проклятие отныне,  
проклятие вовек  
от Волги отвернувшим морда толстоту.  
Это слово не к жирному пузу,  
это слово не к царскому трону, —  
в сердце таком  
слова ничего не тронут:  
трогают их революций штыком.  
Вам,  
несметной армии частицам малым,  
порох мира,  
силой чьей,  
силой,  
брошенной по всем подвалам,  
будет взорван  
мир несметных богачей!  
Вам! Вам! Вам!  
Эти слова вот!  
Цифрами верстовыми,  
вмещающимися едва,  
запишите Волгу буржуазии в счет!

Будет день!  
Пожар всехсветный,  
чистящий и чадный.  
Выворачивая богачей палаты,  
будьте так же,  
так же беспощадны  
в этот час расплаты!

[1922]

## БЮРОКРАТИАДА

*ПРАБАБУШКА БЮРОКРАТИЗМА*

Бульвар.  
 Машина.  
 Сунь пятак —  
 что-то повертится,  
 пошипит гадко.  
 Минуты через две,  
 приблизительно так,  
 из машины вылезит трехкопеечная  
 шоколадка.  
 Бараны!  
 Чего разглазелись кучей?!  
 В магазине и проще,  
 и дешевле,  
 и лучше.

*ВЧЕРАШНЕЕ*

Черт,  
 сын его  
 или евонный брат,  
 распутившийся сверх всяких мер,  
 раздул машину в миллиарды крат  
 и расставил по всей РСФСР.  
 С ночи становятся людей тени.

Тяжелая — подъемный мост! —  
 скрипит,  
 глотает дверь учреждений  
 извивающийся человеческий хвост.

Дверь разгорожена.  
 Еще не узка им!  
 Через решетки канцелярских баррикад,  
 вырвав пропуск, идет пропускаемый.  
 Разлилась коридорами человечья река.

(Первый шип —  
 первый вой —  
 «С очереди сшиб!»  
 «Осади без трудовой!»)

— Ищите и обрящете, —  
 пойдн и «рящ» ее! —  
 которая «входящая» и которая «исходящая»?!  
 Обрящут через час-другой.  
 На рупь бумаги — совсем мáло! —  
 всовывают дрожащей рукой  
 в пасть входящего журнала.

Колесики завертелись.  
От дамы к даме  
пошла бумажка, украшаясь номерами.

От дам бумажка перекинулась к секретарше.  
Шесть секретарш от младшей до старшей!  
До старшей бумажка дошла в обед.  
Старшая разошлась.  
Потерялся след.  
Звезды считать?  
Сойдешь с ума!  
Инстанций не считаю — плавай сама!  
Бумажка плыла, шевелилась еле.  
Лениво ворочались машины валы.

В карманы тыкалась,  
совалась в портфели,  
на полку ставилась,  
кдалась в столы.  
Под грудой таких же  
столами коллегий  
ждала,  
когда подымут ввысь ее,  
и вновь  
под сукном  
в многомесячной неге  
дремала в тридцать третьей комиссии.

Бумажное тело сначала толстело.  
Потом прибавились клипсы-лапки.  
Затем бумага выросла в «дело» —  
пошла в огромной синей папке.  
Зав ее исписал на славу,  
от зава к замзаву вернулась вспять,  
замзав подписал,  
и обратно  
к заву  
вернулась на подпись бумага опять.  
Без подписи места не сыщем под ней мы,  
но вновь  
механизм  
бумагу волок,  
с плеча рассыная печати и клейма  
на каждый  
чистый еще  
уголок.  
И вот,  
через какой-нибудь год,  
отверз журнал исходящий рот.  
И, скрипнув перьями,  
выкинул вон  
бумаги негодной — на миллион.

## СЕГОДНЯШНЕЕ

Высунув языки,  
разинув рты,  
носятся нэписты  
в рьяни,  
в яри...  
А посередине  
высятся  
недоступные форты,  
серые крепости советских канцелярий.  
С угрозой выдвинув пики-перья,  
закованные в бумажные латы,  
работали канцеляристы,  
когда  
в двери  
бумажка втиснулась:  
«Сокращай штаты!»  
Без всякого волнения,  
без всякой паники  
завертелись колеса канцелярской механики.  
Один берет.  
Другая берет.  
Бумага взад.  
Бумага вперед.  
По проторенному другими следу  
через замзава проплыла к преу.  
Пред в коллегню внес вопрос:  
«Обсудите!  
Аппарат оброс».

Все в коллегии спорили стойко.  
Решив вести работу рысью,  
немедленно избрали тройку.  
Тройка выделила комиссию и подкомиссию.  
Комиссию распирала работа.  
Комиссия работала до четвертого пота.  
Начертили схему:  
кружки и линии,  
которые красные, которые синие.

Расширив штат сверхштатной сотней,  
работали и в праздник и в день субботний.  
Согнулись над кипами,  
расселись в ряд,  
щеголяют выкладками,  
цифрами пещрят.  
Глотками хриплыми,  
ртами пенными  
вновь вопрос подымался в пленуме.  
Все предлагали умно и трезво:  
«Вдвое урезывать!»

«Втрое урезывать!»  
 Строчил секретарь —  
 от работы в мыле:  
 постановили — слушали,  
 слушали — постановили...  
 Всю ночь,  
 над машинкой склонившись низко,  
 резолюции переписывала и переписывала машинистка.  
 И...  
 через неделю  
 забредшие киски  
 играли листиками из переписки.

#### МОЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

По-моему,  
 это  
 — с другого бочка —  
 знаменитая сказка про белого бычка.

#### КОНКРЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Я,  
 как известно,  
 не делопроизводитель.  
 Поэт.  
 Канцелярских способностей у меня нет.  
 Но, по-моему,  
 надо  
 без всякой хитрости  
 взять за трубу канцелярию  
 и вытрясти.  
 Потом  
 над вытряхнутыми  
 посидеть в тиши,  
 выбрать одного и велеть:  
 «Пиши!»  
 Только попросить его:  
 «Ради бога,  
 пиши, товарищ, не очень много!»

[1922]

#### ВЫЖДЕМ

Видит Антанта —  
 не разгрызть ореха.  
 Зря тщатся.  
 Зовет коммунистов  
 в Геную  
 посоветаться.  
 РСФСР согласилась.

И снова Франция начинает тянуть.  
Авось, мол, удастся сломить разрухой.  
Авось, мол, голодом удастся согнуть.  
То Франция требует,  
чтоб на съезде собрались какие-то дальние народы,  
такие,  
что их не соберешь и за годы.  
То съезд предварительный требуют.  
Решит, что нравится ей,  
а ты, мол, сиди потом и глазей.  
Ясно —  
на какой бы нас ни звали съезда,  
Антанта одного ждет —  
скоро ли нас съест.  
Стойте же стойко,  
рабочий,  
крестьянин,  
красноармеец!  
Покажите, что Россия сильна,  
что только на такую конференцию согласимся,  
которая выгодна нам.

[1922]

## МОЯ РЕЧЬ НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Не мне российская делегация вверена.  
Я —  
самозванец на конференции Генуэзской.  
Дипломатическую вежливость товарища Чичерина  
дополню по-моему —  
просто и резко.  
Слушай!  
Министерская компанийка!  
Нечего заплывшими глазками мерцать.  
Сквозь фраки спокойные вижу —  
паника  
трясет лихорадкой ваши сердца.  
Неужели  
без смеха  
думать в силе,  
что вы  
на конференцию  
нас пригласили?  
В штыки бросаясь, на Перекоп идти,  
мятежных склоняя под красное знамя,  
трудом сгибаясь в фабричной копоти, —  
мы знали —  
заставим разговаривать с нами.  
Не просьбой просителей язык замер,  
не нищие, жмуриящиеся от господского света, —  
мы ехали, осматривая хозяйскими глазами



грядущую  
Мировую Федерацию Советов.  
Болтают язычишки газетных строк:  
«Испытать их сначала...»  
Хватили лишку!  
Не вы на испытание даете срок —  
а мы на время даем передышку.  
Лишь первая фабрика взвила дым —  
враждой к вам  
в рабочих  
вспыхнули души.  
Слюной ли речей пожары вражды  
на конференции  
нынче  
затушим?!  
Долги наши,  
каждый медный грош,  
считают «Матэны»,  
считают «Таймсы».  
Считаться хотите?  
Давайте!  
Что ж!  
Посчитаемся!  
О вздернутых Врангелем,  
о расстрелянном,  
о заколоте  
память на каждой крымской горе.  
Какими пудами  
какого золота  
опла́тите это, господин Пуанкаре?  
О вашем Колчаке — Урал спросите!  
Зверством — аж горы вгонялись в дрожь.  
Каким золотом —  
хватит ли в Сити?! —  
опла́тите это, господин Ллойд-Джордж?  
Вонзите в Волгу ваше зрение:  
разве этот  
голодный ад,  
разве это  
мужицкое разорение —  
не хвост от ваших войн и блокад?  
Пусть  
кладби́щами голодной смерти  
каждый из вас протащится сам!  
На каком —  
на железном, что ли, эксперте  
не встанут дыбом волоса?  
Не защититесь пунктами резолюций-платин.  
Мировая —  
ночи пальбой веселя —  
революция будет —  
и велит:

«Плати  
и по этим российским вексялям!»  
И розовые краснеют мало-помалу.  
Тише!  
Не дыша!  
Слышите  
из Берлина  
первый шаг  
трех Интернационалов?  
Растя единство при каждом ударе,  
идем.  
Прислушайтесь —  
вздрагивает здание.

Я кончил.  
Милостивые государи,  
можете продолжать заседание.

[1922]

## МОЙ МАЙ

Всем,  
на улицы вышедшим,  
тело машиной измаяв, —  
всем,  
молящим о празднике  
спинам, землею натруженным, —  
Первое мая!  
Первый из маев  
встретим, товарищи,  
голосом, в пенне сдруженным.  
Веснами мир мой!  
Солнцем снежное тай!  
Я рабочий —  
этот май мой!  
Я крестьянин —  
это мой май.

Всем,  
для убийств залёгшим,  
злобу окопов измёнив, —  
всем,  
с броненосцев  
на братьев  
пушками вцеливших люки, —  
Первое мая!  
Первый из маев  
встретим,  
сплетая  
войной разобщенные руки.  
Молкнь, винтовки вой!  
Тихнь, пулемета лай!

Я матрос —  
этот май мой!  
Я солдат —  
это мой май.

Всем  
домам,  
площадям,  
улицам,  
сжатым льдяной зимою, —  
всем  
изголодавшимся голодом  
степям,  
лесам,  
нивам —  
Первое мая!  
Первый из маев  
славьте —  
людей,  
плодородий,  
вёсен разливом!  
Зелень полей, пой!  
Вой гудков, вздымай!  
Я железо —  
этот май мой!  
Я земля —  
это мой май!

[1922]

### КАК РАБОТАЕТ РЕСПУБЛИКА ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ?

*Стихотворение опытное.  
восторженно критическое*

Словно дети, просящие с медом ковригу,  
буржуи вымаливают.  
«Паспортчик бы!  
В Р-и-и-и-гу!»  
Поэтому,  
думаю,  
не лишнее  
выслушать очевидевшего благоустройства заграничные.  
Во-первых,  
как это ни странно,  
и Латвия — страна.  
Все причиндалы, полагающиеся странам,  
имеет и она.  
И правительство (управляют которые),  
и народонаселение,  
и территория...

## ТЕРРИТОРИЯ

Территории, собственно говоря, нет —  
только делают вид...  
Просто полгубернии отдельно лежит.  
А чтоб в этом  
никто  
не убедился воочию —  
поезда от границ отходят ночью.  
Спишь,  
а паровоз  
старается,  
ревет —  
и взад,  
и вперед,  
и топчется на месте.  
Думаешь утром — напутешествовался вот! —  
а до Риги  
всего  
верст сто или двести.  
Ригу не выругаешь —  
чистенький вид.  
Публика мыта.  
Мостовая блеснит.  
Отчего же  
у нас  
грязно и гадко?  
Дело простое —  
в размерах разгадка:  
такая была б Русь —  
в три часа  
всю берусь  
и умыть и причесать.

## АРМИЯ

Об армии не буду отзываться худо:  
откуда ее набрать с двухмиллионного люда?!  
(Кой о чем приходится помолчать условиться,  
помните? — пословица:  
«Не плюй вниз  
в ожидании виз»).

Войска мало,  
но выглядит мило.  
На меня б  
на одного  
уж во всяком случае хватило.  
Тем более, говорят, что и пушки есть:  
не то пять,  
не то шесть.

## ПРАВИТЕЛЬСТВО

Латвией управляет учредилка.  
 Учредилка — место, где спорят пылко.  
 А чтоб языками вертели не слишком часто,  
 председателя выбрали —  
 господин Чаксте.  
 Республика много демократичней, чем у нас.  
 Ясно без слов.  
 Все решается большинством голосов.  
 (Если выборы в руках  
 — понимаете сами —  
 трудно ли обзавестись нужными голосами!)  
 Голоснули,  
 подсчитали —  
 и вопрос ясен...  
 Земля помещикам и перешла восвояси.  
 Не с собой же спорить!  
 Глупо и скучно.  
 Для споров  
 несколько эсдечков приручено.  
 Если же очень шебутятся с левых мест,  
 проголосуют —  
 и пожалуйста под арест.  
 Чтоб удостовериться,  
 правдивы мои слова ли,  
 спросите у Дермана —  
 его «проголосовали».

## СВОБОДА СЛОВА

Конечно,  
 ни для кого не ново,  
 что у демократов свобода слова.  
 У нас цензура —  
 разрешат или запретят.  
 Кому такие ужасы не претят?!  
 А в Латвии свободно —  
 печатай сколько угодно!  
 Кто не верит,  
 убедитесь на моем личном примере.  
 «Напечатал «Люблю» —  
 любовная лирика.  
 Вещь — безобиднее найдите в мире-ка!  
 А полиция — хоть бы что!  
 Насчет репрессий вяло.  
 Едва-едва через три дня арестовала.

## СВОБОДА МАНИФЕСТАЦИЙ

И насчет демонстраций свобод немало —  
 ходи и пой досыта и до отвала!

А чтоб не пели чего,  
 устои ломая, —  
 учреднаку открыли в день маёвки.  
 Даже парад правительственный — первого мая.  
 Не правда ли,  
 ловкие головки?!  
 Народ на маёвку повалил валом:  
 только  
 отчего-то  
 распелись «Интернационалом».  
 И в общем ничего,  
 сошло мило —  
 только человек пятьдесят полиция побила.  
 А чтоб было по-домашнему,  
 а не официально-важно,  
 полиция в буршей была переряжена.

## КУЛЬТУРА

Что Россия?  
 Россия дура!  
 То-то за границей —  
 за границей культура.  
 Поэту в России —  
 одна грусть!  
 А в Латвии  
 каждый знает тебя наизусть.  
 В Латвии  
 даже министр каждый —  
 и то томится духовной жаждой.  
 Есть аудитории.  
 И залы есть.  
 Мне и захотелось лекциишку прочесть.  
 Лекцию не утаншь.  
 Лекция — что шило.  
 Пришлось просить,  
 чтоб полиция разрешила.  
 Жду разрешения  
 у господина префекта.  
 Господин симпатичный —  
 в погончиках некто.  
 У нас  
 с бумажкой  
 натерпелись бы волокит,  
 а он  
 и не взглянул на бумажкин вид.  
 Сразу говорит:  
 «Запрещается.  
 Прощайте!»  
 — Разрешите, — прошу, —  
 ну чего вы запрещаете? —

Вотще!  
 «Квесис, — говорит, — против футуризма вообще».  
 Спрашиваю,  
 в поклоне свесясь:  
 — Что это за кушанье такое —  
 К-в-е-с-и-с? —  
 «Министр внулел,  
 — префект рёк —  
 образованный —  
 знает вас вдоль и поперек».  
 — А Квесис  
 не запрещает,  
 ежели человек — брюнет? —  
 спрашиваю в бессильной яри.  
 «Нет, — говорит, —  
 на брюнетов запрещения нет».  
 Слава богу!  
 (Я-то, на всякий случай — карий).

#### НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ

В Риге не видно худого народонаселения.  
 Голод попрятался на фабрики и в селения.  
 А в бульварной гуще —  
 народ жирнющий.  
 Щеки красные,  
 рот — во!  
 В России даже у нэпистов меньше рот.  
 А в остальном —  
 народ ничего,  
 даже довольно милый народ.

#### МОРАЛЬ В ОБЩЕМ

Зря,  
 ребята,  
 на Россию ропшем.

[1922]

#### БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ ЭМИЛЕ

Замри, народ! Любуйся, тих!  
 Плети венки из лилий.  
 Греми о Вандервельде стих,  
 о доблестном Эмиле!

С Эмилем сим сравнимся мы ль:  
 он чист, он благороден.  
 Душою любящей Эмиль  
 голубки белой вроде.

Не любит страсть Эмиль Чеку,  
Эмиль Христова нрава:  
ударь щеку Эмильчику —  
он повернется справа.

Но к страждущим Эмиль премил,  
в любви к несчастным тая,  
за всех бороться рад Эмиль,  
язык не покладая.

Читал Эмиль газету раз.  
Вдруг вздрогнул, кофий вылься,  
и слезы брызнули из глаз  
предоброго Эмиля.

«Что это? Сказка? Или была?  
Не сказка!.. Вот!.. В газете... —  
Сквозь слезы шепчет вслух Эмиль: —  
Ведь у эсеров дети...

Судить?! За пулю Ильичу?!  
За что? Двух-трех убили?  
Не допущу! Бегу! Лечу!»  
Надел штаны Эмилий.

Эмилий взял портфель и трость.  
Бежит. От спешки в мыле.  
По миле миль несется гость.  
И думает Эмилий:

«Уж погоди, Чека-змея!  
Раздокажу я! Или  
не адвокат я? Я не я!  
сапог, а не Эмилий».

Москва. Вокзал. Народу сонм.  
Набит, что в бочке сельди.  
И, выгнув груди колесом,  
выходит Вандервельде.

Эмиль разинул сладкий рот,  
тряхнул кудрём Эмилий.  
Застыл народ. И вдруг... И вот...  
Мильоном кошек взвыли.

Грознее и грознее вой.  
Господь, храни Эмиля!  
А вдруг букетом-крапивой  
кой-что Эмилю взмылят?

Но друг один нашелся вдруг.  
Дорогу шпорой пьяля,  
за ручку взял Эмиля друг  
и ткнул в авто Эмиля.



— Свою неконченную речь  
слезой, Эмилией, вылей! —  
И, нежно другу ткнувшись в френч,  
истек слезой Эмилией.

А друг за лаской ласку льет: —  
Не плачь, Эмилией милый!  
Не плачь! До свадьбы заживет! —  
И в ласках стих Эмилией.

Смахнувши слезку со щеки,  
обнять дружнице рад он.  
«Кто ты, о друг?» — Кто я? Чекист  
особого отряда. —

«Да это я?! Да это вы ль?!  
Ох! Сердце... Сердце рана!»  
Чекист в ответ: — Прости, Эмиль.  
Приставлены... Охрана... —

Эмиль белей, чем белый лист,  
осмыслить факты тужась.  
«Один лишь друг и тот — чекист!  
Позор! Проклять! Ужас!»

---

Морали в сей поэме нет.  
Эмилией милый, вы вот,  
должно быть, тож на сей предмет  
успели сделать вывод?!

[1922]

## НАТЕ!

*Басня о «крокодиле»  
и о подписной плате*

Вокруг «Крокодила»  
компания ходила.  
Захотелось нэпам,  
так или иначе,  
получить на обед филей «Крокодилячий».  
Чтоб обед рассервизить тонко,  
решили:  
— Сначала измерим «Крокодилёнка!» —  
От хвоста до ноздри,  
с ноздрею даже,  
оказалось —  
без вершка 50 сажен.  
Перемерили «Крокодилину»,  
и ввруг  
в ней —  
от хвоста до ноздри 90 саженей.

Перемерили опять:  
 до ноздри  
 с хвоста  
 сажений оказалось больше ста.  
 «Крокодилище» перемерили  
 — ну и делища! —  
 500 сажений!  
 750!  
 1000!  
 Бегают,  
 меряют.  
 Не то, что съесть,  
 времени нет отдохнуть сесть.  
 До 200 000 сажений дошли,  
 тут  
 сбились с ног,  
 легли —  
 и капут.  
 Подняли другие шум и галдеж:  
 «На что ж арифметика?  
 Алгебра на что ж?»  
 А дело простое.  
 Даже из Готтентотни житель  
 поймет.  
 Ну чего впадать в раж?!  
 Пока вы с аршином к ноздре бежите,  
 у «Крокодила»  
 с хвоста  
 вырастает тираж.  
 Мораль простая —  
 проще и нету:  
**Подписывайтесь на «Крокодила»  
 и на «Рабочую газету».**

[1922]

### СТИХ РЕЗКИЙ О РУЛЕТКЕ И ЖЕЛЕЗКЕ

Напечатайте, братцы,  
дайте отыграться.

#### ОБЩИЙ ВИД

Есть одно учреждение,  
 оно  
 нмя имеет такое — «Казинó».  
 Помещается в тесноте — в Каретном ряду, —  
 а деятельность большая — желдороги, банки.  
 По-моему,  
 к лицу ему больше идут  
 просторные помещения на Малой Лубянке.

## ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

В 12 без минут  
 или в 12 с минутами.  
 Воры, ворюшки,  
 плуты и плутики  
 с вздутыми карманами,  
 с животами вздутыми  
 вылазят у «Эрмитажа», остановив «дутики».  
 Две комнаты, проплеванные и накуренные.  
 Столы.  
 За каждым,  
 сладкий, как патока,  
 человечек.  
 У человечка ручки наманикюренные.  
 А в ручке у человечка небольшая лопатка.  
 Выроют могилку и уложат вас в яме.  
 Человечки эти называются «крупьями».  
 Чуть войдешь,  
 один из «крупей»  
 прилепливается, как репей:  
 «Господин товарищ —  
 свободное место», —  
 и проводит вас через человечье тесто.  
 Глазки у «крупьи» — две звездочки-точки.  
 «Сколько, — говорит, — прикажете объявить в баночке?..»  
 Досташь из кармана сотнягу деньгу.  
 В зале моментально прекращается гул.  
 На тебя облизываются, как на баранье рагу.

## КРУПЬЕ

С изяществом, превосходящим балерину,  
 парочку карточек барашку кинул.  
 А другую пару берет лапа  
 арапа.  
 Барашек  
 еле успевает  
 руки  
 совать за деньгами то в пиджак, то в брюки.  
 Минут через 15 такой пластики  
 даже брюк не остается —  
 одни хлястики.  
 Без «шпалера»,  
 без шума,  
 без малейшей царапины,  
 разбандитят до ниточки лапы арапины.  
 Вся эта афера  
 называется — шмендефером.

## РУЛЕТКА

Чтоб не скучали эповы жены и детки,  
 и им развлечение —  
 зал рулетки.

И сыну приятно,  
и мамаше лучше:  
сын обучение математическое получит.  
Объяснение для товарищей, не выдавших рулетки.  
Рулетка — стол,  
а на столе —  
клетки.  
А чтоб арифметикой позабавиться сыночку и маме,  
клеточка украшена номерами.  
Поставь на единицу миллион твой-ка,  
крупье объявляет:  
«Выиграла двойка».  
Если всю доску изыграть эту,  
считать и выучишься к будущему лету.  
Образование небольшое —  
всего три дюжины.  
Ну, а много ли нэповскому сыночку нужно?

#### А ЧТО РАБОЧИМ?

По-моему,  
и от «Казино»,  
как и от всего прочего,  
должна быть польза для сознательного рабочего.  
Сделать  
в двери  
дырку-глазок,  
чтоб рабочий играющих посмотрел разок.  
При виде шестизэтажного нэповского затылка  
руки начинают чесаться пылко.  
Зрелище оное —  
очень агитационное.

#### МОЙ СОВЕТ

Удел поэта — за ближнего болéй.  
Предлагаю  
как-нибудь  
в вечер хмурый  
придти ГПУ и снять «дамблэ» —  
половину играющих себе,  
а другую —  
МУРу.

[1922]

#### ПОСЛЕ ИЗЪЯТИЙ

Известно:  
у меня  
и у бога  
разногласий чрезвычайно много.

Я ходил раздетый,  
ходил босой,  
а у него —  
в жемчугах ряса.  
При виде его  
гнев свой  
еле сдерживал.  
Просто тряся.  
А теперь бог — что надо.  
Много проще бог стал.  
Смотрит из деревянного оклада.  
Риза — из холста.  
— Товарищ бог!  
Меняю гнев на милость.  
Видите —  
даже отношение к вам немного переменилось:  
называю «товарищем»,  
а раньше —  
«господин».  
(И у вас появился товарищ один.)  
По крайней мере,  
на человека похожи  
стали.  
Что же,  
зайдите ко мне как-нибудь.  
Снизойдите  
с вашей звездной дали.  
У нас промышленность расстроена,  
транспорт тож.  
А вы  
— говорят —  
занимались чудесами.  
Сделайте одолжение,  
сойдите,  
поработайте с нами.  
А чтоб ангелы не били баклуши,  
посреди звезд —  
напечатайте,  
чтоб лезло в глаза и в уши:  
не трудящийся не ест.

[1922]

## ГЕРМАНИЯ

Германия —  
это тебе!  
Это не от Рапалло.  
Не наркомвнешторжким я рассчитаю внял.  
Никогда,  
никогда язык мой не трепала  
комплиментщины официальной болтовня.

Я не спрашивал,  
Вильгельму,  
Николаю прок ли, —  
разбираться в дрязгах царственных не мне.  
Я  
от первых дней  
войницу эту проклял,  
плюнул рифмами в лицо войне.  
Распустив демократические слюни,  
шел Керенский в орудийном гуле.  
С теми был я,  
кто в июне  
отстранял  
от вас  
нацеленные пули.  
И когда, стянув полков ободья,  
сжали горла вам французы и британцы,  
голос наш  
взвивался песней о свободе,  
руки фронта вытянул брататься.  
Сегодня  
хожу  
по твоей земле, Германия,  
и моя любовь к тебе  
расцветает романнее и романнее.  
Я видел —  
цепенеют верфи на Одере,  
я видел —  
фабрики сковывает тишь.  
Пусть, —  
не верю,  
что на смертном одре  
лежишь.  
Я давно  
с себя  
лохмотья наций скинул.  
Нищая Германия,  
позволь  
мне,  
как немцу,  
как собственному сыну,  
за тебя твою распеснить боль.

## РАБОЧАЯ ПЕСНЯ

Мы сеем,  
мы жнем,  
мы куем,  
мы прядем,  
рабы всемогущих Стиннесов.  
Но мы не мертвы.  
Мы еще придем.  
Мы еще наметим и кинемся.

Обернулась шибером,  
улыбка на морде, —  
история стала.  
Старая врет.  
Мы еще придем  
Мы пройдем из Норденов  
сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот.  
У них доллары.  
Победа дала.  
Из унтерденлиндских отелей  
ползут,  
вгрызают в горло доллар,  
пируют на нашем теле.  
Терпите, товарищи, расплаты во имя...  
За все —  
за войну,  
за после,  
за раньше,  
со всеми,  
с ихними  
и со своими  
мы рассчитаемся в Красном реванше...  
На глотке колено.  
Мы — зверьн рычим.  
Наш голос судорогой нѣмится..  
Мы знаем, под кем,  
мы знаем, под чьим  
еще подымутся немцы.  
Мы  
еще  
извеселим берлинские улицы.  
Красный флаг, —  
мы заждались —  
вздымайся и рей!  
Красной песне  
из окон каждого Шульца  
откликайся,  
свободный  
с Запада  
Рейн.  
Это тебе дарю, Германия!  
Это  
не долларов тыщи,  
этой песней счёта с голодом не свести.  
Что ж,  
и ты  
и я —  
мы оба нищи, —  
у меня  
это лучшее из всего, что есть.

[1922—1923]

## НА ЦЕПЬ!

— Патронов не жалеите! Не жалеите пуль!  
Опять по армиям приказ Антанты отдан.  
Январь готовят обернуть в июль —  
июль 14-го года.  
И может быть,  
уже  
рабам на Сене  
хозяйским окриком повéлено.  
— Раба немецкого поставить на колени.  
Не встанут — расстрелять по переулкам Кельна!

Сияй, Пуанкаре!  
Сквозь жир  
в твоих ушах  
раскат пальбы гремит прелестней песен:  
рабочий Франции по штольням мирных шахт  
берет в штыки рабочий мирный Эссен.  
Тюрьмою Рим — дубин заплочных свист,  
рабочий Рима, бей немецких в Руре —  
пока  
чернорубашечник фашист  
твоих вождей крошит в застенках тюрем.

Британский лев держи нейтралитет,  
блудливые глаза прикрой стыдливой лапой,  
а пальцем  
укажи,  
куда судам лететь,  
рукой свободно колоний горсти хапай.  
Блестит английский фунт у греков на носу,  
и греки прут, в посул топыря веки;  
чтоб Бонар-Лоу подарить Мосул,  
из турков пустят кровь и крови греков реки.

Товарищ мир!  
Я знаю,  
ты бы мог  
спиницу разогнуть.  
И просто —  
шагни!  
И раздавили б танки ног  
с горба попадавших прохвостов.  
Время с горба слуть.  
Бунт, барабан, бей!  
Время вздеть узду  
капиталиста алчбе.  
Или не жалко горба?  
Быть рабом лучше?  
Рабочих шагов барабан,  
по миру греми, гремучий!



Европе указана смерть  
пальцем Антанты потным.  
Лучше восстать посметь,  
встать и стать свободным.

Тем, кто забит и сер,  
в ком курья вера —  
красный СССР  
будь тебе примером!

Свобода сама собою  
не валится в рот.  
Пять —  
пять лет вырываем с бою  
за пядью каждую пядь.

Еще не кончен труд,  
еще не рай неб.  
Капитализм — спрут.  
Щупальцы спрута — НЭП.

Мы идем мерно,  
идем, с трудом дыша,  
но каждый шаг верный  
близит коммуны шаг.  
Рукой на станок ляг!  
Винтовку держи другой!  
Нам покажут кулак,  
мы вырвем кулак с рукой.

Чтоб тебя, Европа-раба,  
не убили в это лето —  
бунт бей, барабан,  
мир обнимите, Советы!

Снова сотни стай  
лезут жечь и резать.  
Рабочий, встань!  
Взнуздай!  
Антанте узду из железа!

[1923]

## ТОВАРИЩИ! РАЗРЕШИТЕ МНЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПАРИЖЕ И О МОНЕ́

Я занимаюсь искусством.  
Оно —  
подданное Моне́.  
Я не ною:  
под Монею, так под Монею.  
Чуть с Виндавского вышел —  
поборол усталость и лень я.  
Бегу в Моне.

«Подпишите афиши!  
 Рад Москве излить впечатления».

Латвийских поездов тише  
 по лону Моно поплыли афиши.  
 Стою.  
 Позевываю зевотой сладкой.  
 Совсем как в Эйдкунене в ожидании пересадки.  
 Афиши обсуждаются  
 и одиночно,  
 и вкупе.  
 Пропадут на час.  
 Поищут и выроют.  
 Будто на границе в Себеже или в Зилупе  
 вагоны полдня на месте маневрируют.  
 Постоим...  
 и дальше в черепашьем марше!  
 Остановка:  
 станция «Член коллегии».  
 Остановка:  
 разъезда «Две секретарши»...  
 Ну и товарно-пассажирская элегия!  
 Я был в Моно,  
 был в Париже —  
 Париж на 4 часа ближе.  
 За разрешением Моно и до Парижа города  
 путешественники отпраляются в 2.  
 В 12 вылазишь из Gare du Nord<sup>1</sup>,  
 а из Моно  
 и в 4 выберешься едва.  
 Оно понятно:  
 меньше станций —  
 инстанций.  
 Пару моралей высказать рад.  
 Первая:  
 нам бы да ихний аппарат!  
 Вторая для сеятелей подписей:  
 чем сеять подписи —  
 хлеб сей.

[1923]

## ПЕРНАТЫЕ

(Нам посвящается)

Перемириваются в мире.  
 Передышка в грозе.  
 А мы воюем.  
 Воюем без перемирий.  
 Мы —  
 действующая армия журналов и газет.

<sup>1</sup> Северный вокзал (*фр.*).

Лишь строки-улицы в ночь рядятся,  
маскированные домами-горами,  
мы  
клоним головы в штабах редакций  
над фоно-теле-радио-граммами.

Ночь.  
Лишь косятся звездные лучики.  
Попробуй —  
вылезь в час вот в этакий!  
А мы,  
мы ползем — репортеры-лазутчики —  
сенсацию в плен поймать на разведке.

Поймаем,  
допросим  
и тут же  
храбро  
на мир,  
на весь миллиардомильный  
в атаку,  
щетинясь штыками Фабера,  
идем,  
истекая кровью чернильной.

Враг,  
колючей проволокой мотанный,  
думает:  
— В рукопашную не дойти! —  
Пусть.  
Разливая огонь словометный,  
пойдет пулеметом хлестать линотип.

Армия вражья крепости рада.  
Стереть!  
Не бросать идти!  
По стенам армии вражьей  
снарядами  
бей, стереотип!

Наконец,  
в довершенье вражьей паники,  
скрежеща,  
воя,  
ротационки-танки,  
укатывайте поле боевое!

А утром...  
форды —  
лишь луч проскребся —  
летите,  
киоскам о победе таратора:  
— Враг  
разбит петитом и корпусом  
на полях газетно-журнальных территорий.

[1923]

## О ПОЭТАХ

СТИХОТВОРЕНИЕ ЭТО — ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНО  
И ДЛЯ РЕДАКТОРА И ДЛЯ ПОЭТОВ

Всем товарищам по ремеслу:  
несколько идей  
о «прожигании глаголами сердец людей».

Что поэзия?!

Пустяк.

Шутка.

А мне от этих шуточек жутко.

Мысленным оком окидывая Федерацию —  
готов от боли визжать и драться я.

Во всей округе —

тысяч двадцать поэтов изогнулись в дуги.

От жизни сидячей высохли в жгут.

Изголодались.

С локтями голыми.

Но денно и ночью

жгут и жгут

сердца неповинных людей «глаголами».

Написал.

Готово.

Спрашивается — прожёт?

Прожёт!

И сердце и даже бок.

Только поймут ли поэтические стада,

что сердца

сгорают —

исключительно со стыда.

Посудите:

сидит какой-нибудь верзила  
(мало ли слов в России есть?!).

А он

вытягивает,

как булавку из ила,

пустяк,

который полегше зарифмоплеть.

А много ль в языке такой чуши,

чтоб сама

колокольчиком

лезла в уши?!!

Выберет...

и опять отчесывает вычески,

чтоб образ был «классический»,

«поэтический».

Вычешут...

и опять кряхтят они:

любят ямбы редактора́ лающихся.

А попробуй

в ямб

пойдн и запнхн  
 какое-нбуь слово,  
 напрмер «млекопнтающесея».  
 Потеют как следует  
 над большм лнстом.  
 А только сбоку  
 на узеньком клочочке  
 коротенькне строчки растянулнсь глнстом.  
 А остальное —  
 однн запятые да точки.  
 Хорошнй язык взял да н искрошнл,  
 зря только на обучение тратнлнсь грошн.  
 В редакцнн  
 поэтов банда такая,  
 что у редактора хроническнй разлнв жёлчн.  
 Банду локтямн,  
 дверямн толкают,  
 курьер орет: «Набнлось сволочн!»  
 Не от мнра сего —  
 стоят молча.  
 Поэту в редкость удачн лучн.  
 Разве что редактор затамуднтся слншком,  
 н врасплох удаетса ему всучнтъ  
 какую-нбуь  
 позапрошлогодною  
 залежавшуюся «веснншку».  
 И, наконец,  
 выпускающнй,  
 над чушью фыркая,  
 режет набранное мелкнм петнтком  
 н затыкает стнхамн дырку за дыркой,  
 на горе роднтелям н на радость критнкам.  
 И лезут за прибавкामн наборшнк н наборшнца.  
 Оно понятн —  
 набнрают н морщатся.

У мнря решение одно отлежалось:  
 помочь людям.  
 А то жалость!  
 (Особенно предложение пригоднолось к весне б,  
 когда стнхом зачнтывается весь нэп.)  
 Я не против такой поэзнн.  
 Отнюдь.  
 Весною тянет на меланхолическую нудь.  
 Но долой рукоделнне!  
 Что может быть старей  
 кустарей?!  
 Как мастер этого дела  
 (ко мнре не прицепнтесь)  
 сообщу вам об универсальном рецепте-с.  
 (Новость та,  
 что монмн мерамн  
 поэты замнняются редакцноннымн курьерамн.)

## РЕЦЕПТ

(Правила простые совсем:  
всего — семь.)

1. Берутся классики,  
свертываются в трубку  
и пропускаются через мясорубку.
2. Что получится, то  
откидывают на решето.
3. Откинутае выставляется на вольный дух.  
(Смотри, чтоб на «образы» не насело мух!)
4. Просушиваемое перетряхивается еле  
(чтоб мягкие знаки чересчур не затвердели).
5. Сушится (чтоб не успело перевечниться)  
и сыпется в машину:  
обыкновенная перечница.
6. Затем  
раскладывается под машиной  
липкая бумага  
(для ловли мушиной).
7. Теперь просто:  
верти ручку,  
да смотри, чтоб рифмы не сбились в кучку!  
(Чтоб «кровь» к «любовь»,  
«тень» ко «дню»,  
чтоб шли аккуратненько  
одна через одну)

Полученное вынь и...

готово к употреблению:

к чтению,

к декламированию,

к пению.

А чтоб поэтов от безработной меланхолии вылечить,

чтоб их не тянуло портить бумажки,

отобрать их от добрейшего Анатолия Васильича

и передать

товарищу Семашке.

[1923]

## О «ФИАСКАХ», «АПОГЕЯХ»

## И ДРУГИХ НЕВЕДОМЫХ ВЕЩАХ

На съезде печати

у товарища Калинина

великолепнейшая мысль в речь вклинена:

«Газетчики,  
думайте о форме!»

До сих пор мы

не подумали об усовершенствовании статейной формы.

Товарищи газетчики,

СССР оглазейте, —

как понимается описываемое в газете.

Акуловкой получена газет связка.  
Читают.  
В буквы глаза втыкают.  
Прочли:  
— «Пуанкаре терпит фиаско». —  
Задумались.  
Что это за «фиаска» за такая?  
Из-за этой «фиаски»  
грамотей Ванюха  
чуть не разодрался:  
— Слушай, Петь,  
с «фиаской» востро́ держи ухо:  
даже Пуанкаре приходится его терпеть.  
Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи.  
Даже Стиннеса —  
и то! —  
прогнал из Рура.  
А этого терпит.  
Значит, богаче.  
Американец, должно́.  
Понимаешь, дура?! —

С тех пор,  
когда самогонщик,  
местный туз,  
проезжал по Акуловке, гремя коляской,  
в уважение к богатству,  
скидавая картуз,  
его называли —  
Господином Фиаской.  
Последние известия получили красноармейцы.  
Сели.  
Читают, газетиной вея.  
— О французском наступлении в Руре имеется? —  
Да, вот написано:  
«Дошли до своего апогея».  
— Товарищ Иванов!  
Ты ближе.  
Эй!  
На карту глянь!  
Что за место такое:  
А-п-о-г-е-й? —  
Иванов ищет.  
Дело дрянь.  
У парня  
аж скулу от напряжения свело.  
Каждый город просмотрел,  
каждое село.  
«Эссен есть —  
Апогея нету!  
Деревушка махонькая, должно быть, это.

Верчусь —  
 аж дыру провертел в сапоге я —  
 не могу найти никакого Апогея!»  
 Казарма  
 малость  
 посовещалась.  
 Наконец —  
 товарищ Петров взял слово:  
 — Сказано: до своего дошли.  
 Ведь не до чужого?!  
 Пусть рассеется сомнений дым.  
 Будь он селом или градом,  
 своего «апогея» никому не отдадим,  
 а чужих «апогеев» — нам не надо. —

Чтоб мне не писать, впустую оря,  
 мораль вывожу тоже:  
 то, что годится для иностранного словаря,  
 газете — не гоже.

[1923]

## НА ЗЕМЛЕ МИР. ВО ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ

Радостный крик греми —  
 это не краса ли?!  
 Наконец  
 наступил мир,  
 подписанный в Версале.  
 Лишь взглянем в газету мы —  
 мир!  
 Некуда деться!  
 На земле мир.  
 Благоволение во человецех.  
 Только (хотя и нехотя)  
 заметим:  
 у греков негоже.  
 Грек норовит заехать  
 товарищу турку по роже.  
 Да еще  
 Пуанкаре  
 немного  
 немцев желает высечь.  
 Закинул в Рур ногу  
 солдат 200 тысяч!  
 Еще, пожалуй,  
 в Мёмеле  
 Литвы поведенье игриво —  
 кого-то  
 за какие-то земли  
 дуют в хвост и в гриву.



Не приходите в отчаяние  
 (пятно в солнечном глянце):  
 англичане  
 норвят укокошить ирландца.  
 В остальном —  
 сияет солнце,  
 мир без края,  
 без берега.  
 Вот разве что  
 японцы  
 лезут с ножом на Америку.  
 Зато  
 в остальных местах —  
 особенно у северного полюса, —  
 мир,  
 пенне птах.  
 Любой без отказа пользуйся.  
 Старики!  
 Взрослые!  
 Дети!  
 Падайте перед Пуанкарою:  
 — Спасибо, отец благодетель!..  
 Когда  
 за «миры» за эти  
 тебя, наконец, накроют?

[1923]

### БАРАБАННАЯ ПЕСНЯ

Наш отец — завод.  
 Красная кепка — флаг.  
 Только завод позовет —  
 руку прочь, враг!  
  
 Вперед, сыны стали!  
 Рука, на приклад ляг!  
 Громи, шаг, дали!  
 Громче печать — шаг!  
  
 Наша мать — пашня,  
 Пашню нашу не тронь!  
 Стража наша страшная —  
 глаз, винтовок огонь.  
  
 Вперед, дети ржи!  
 Рука, на приклад ляг!  
 Ногу ровней держи!  
 Громче печать — шаг!  
  
 Армия — наша семья.  
 Равный в равном ряду.  
 Сегодня солдат я —  
 завтра полк веду.

За себя, за всех стой.  
С неба не будет благ.  
За себя, за всех в строй!  
Громче печать — шаг!

Коммуна, наш вождь,  
велит нам: напролом!  
Разольем пуль дождь,  
разгремим орудий гром.

Если вождь зовет,  
рука, на винтовку ляг!  
Вперед, за взводом взвод!  
Громче печать — шаг!

Совет — наша власть.  
Сами собой правим.  
На шею вовек не класть  
рук барской ораве.

Только кликнул совет —  
рука, на винтовку ляг!  
Шагами громи свет!  
Громче печать — шаг!

Наша родина — мир.  
Пролетарии всех стран,  
ваш щит — мы,  
вооруженный стан.

Где б враг не был,  
станем под красный флаг.  
Над нами мира небо.  
Громче печать — шаг!

Будем, будем везде.  
В свете частей пять.  
Пятиконечной звезде —  
во всех пяти сиять.

Отступит назад враг.  
Снова России всей  
рука, на плуг ляг!  
Снова, свободная, сей!

Отступит врага нога.  
Пыль, убегая, взовьет.  
С танка слезь!  
К станкам!

Назад!  
К труду.  
На завод.

[1923]

СРОЧНО  
ТЕЛЕГРАММА МУСЬЕ ПУАНКАРЕ И МИЛЬБРАНУ

Есть слова иностранные.  
Иные  
чрезвычайно странные.  
Если люди друг друга процеловали до дыр,  
вот это  
по-русски  
называется — мир.  
А если  
грохнут в уха оба,  
и тот  
орет, разинув рот,  
такое доведение людей до гроба  
называется убивством.  
А у них —  
наоборот.  
За примерами не гоняться! —  
Оптом перемиривает Лига Наций.  
До пола печати и подписи свисали.  
Перемирили и Юг, и Север.  
То Пуанкаре расписывается в Версале,  
то —  
припечатывает печатями Севр.  
Кончилась конференция.  
Завершен труд.  
Умолкните, пушечные гулы!  
Ничего подобного!  
Тут —  
только и готовь скулы.  
— Севрский мир — вот это штука! —  
орут,  
наседают на греков турки.  
— А ну, турки,  
помиримся,  
ну-ка! —  
орут греки, налазя на турка.  
Сыплется с обоих с двух штукатурка.  
Ясно —  
каждому лестно мириться.  
В мирной яри  
лезут мириться государств тридцать:  
румыны,  
сербы,  
черногорцы,  
болгаре...  
Суматоха.  
У кого-то кошель стянули,  
какие-то каким-то расшибли переносья —  
и пошли мириться!

Только жужжат пули,  
да в воздухе летают щеки и волосья.  
Да и версальцы людей мирят не худо.  
Перемирили половину европейского люда.  
Поровну меж государствами поделили земли:  
кому Вильны,  
кому Мёмели.  
Мир подписали минуты в две.  
Только  
география — штука скользкая;  
польские городишки раздарили Литве,  
а литовские —  
в распоряжение польское.  
А чтоб промеж детей не шла ссора —  
крейсер французский  
для родительского надзора.  
Глядит восторженно Лига Наций.  
Не ей же в драку вмешиваться.  
Милые, мол, бранятся —  
только... чешутся.  
Словом —  
мир сплошной:  
некуда деться,  
от Мосула  
до Рура  
благоволение во человецех.  
Одно меня настраивает хмуро.  
Чтоб выяснить это,  
шлю телеграмму  
с оплаченным ответом:  
«Париж  
(точка,  
две тире)  
Пуанкаре — Мильерану.  
Обоим  
(точка).  
Сообщите —  
если это называется миром,  
то что  
у вас  
называется мордобоем?»

[1923]

## ПАРИЖ

*(разговорчики с Эйфелевой башней)*

Обшаркан миллионом ног.  
Испелестен тыщей шин.  
Я борозжу Париж —  
до жути одинок,

до жути ни лица,  
до жути ни души.  
Вокруг меня —  
авто фантасят танец,  
вокруг меня —  
из зверорыбьих морд —  
еще с Людовиков  
свистит вода, фонтанясь.  
Я выхожу  
на Place de la Concorde<sup>1</sup>.  
Я жду,  
пока,  
подняв резную главку,  
домовьей слежкой умаяна,  
ко мне,  
к большевику,  
на явку  
выходит Эйфелева из тумана.  
— Т-ш-ш-ш,  
башня,  
тише шлепайте! —  
увидят! —  
луна — гильотинная жуть.  
Я вот что скажу  
(пришипился в шепоте,  
ей  
в радиоухо  
шечу,  
жужжу):  
— Я разагитировал вещи и здания.  
Мы —  
только согласия вашего ждем.  
Башня —  
хотите возглавить восстание?  
Башня —  
мы  
вас выбираем вождем!  
Не вам —  
образцу машинного гения —  
здесь  
таять от аполлинеровских вирш.  
Для вас  
не место — место гниения —  
Париж проституток,  
поэтов,  
бирж.  
Метро согласились,  
метро со мною —  
они  
из своих облицованных нутр

---

<sup>1</sup> Площадь Согласия (фр.).

публику выплюют —  
кровью смоют  
со стен  
плакаты духов и пудр.  
Они убедились —  
не ими литься  
вагонам богатых.  
Они не рабы!  
Они убедились —  
им  
более к лицам  
наши афиши,  
плакаты борьбы.  
Башня —  
улиц не бойтесь!  
Если  
метро не выпустит уличный грунт —  
грунт  
исполосуют рельсы.  
Я поднимаю рельсовый бунт.  
Бойтесь?  
Трактиры заступятся стаями?  
Бойтесь?  
На помощь придет Рив-гош<sup>1</sup>.  
Не бойтесь!  
Я уговорился с мостами.  
Вплавь  
реку  
переплыть  
не легко ж!  
Мосты,  
распалясь от движения злого,  
подымутся враз с парижских боков.  
Мосты забунтуют.  
По первому зову —  
прохожих ссыпят на камень быков.  
Все вещи вздыбятся.  
Вещам невоготу.  
Пройдет  
пятнадцать лет  
иль двадцать,  
обдрябнет сталь,  
и сами  
вещи  
тут  
пойдут  
Монмартрами на ночи продаваться.  
Идемте, башня!  
К нам!

---

<sup>1</sup> Левый берег (*фр.*).

Вы —  
там,  
у нас,  
нужней!  
Идемте к нам!  
В блестящие стали,  
в дымах —  
мы встретим вас.  
Мы встретим вас нежней,  
чем первые любимые любимых.  
Идем в Москву!  
У нас  
в Москве  
простор.  
Вы  
— каждой! —  
будете по улице иметь.  
Мы  
будем холить вас:  
раз сто  
за день  
до солнц расчистим вашу сталь и медь.  
Пусть  
город ваш,  
Париж франтих и дур,  
Париж бульварных ротозеев,  
кончается один, в сплошной складбищась Лувр,  
в старье лесов Булонских и музеев.  
Вперед!  
Шагни четверкой мощных лап,  
прибитых чертежами Эйфеля,  
чтоб в нашем небе твой изранило лоб,  
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!  
Решайтесь, башня, —  
нынче же вставайте все,  
разворотив Париж с верхушки и до низу!  
Идемте!  
К нам!  
К нам, в СССР!  
Идемте к нам —  
я  
вам достану визу!

[1923]

ДАВИДУ ШТЕРЕНБЕРГУ —

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Милый Давид!

При вашем имени

обязательно вспоминаю Зимний.

Еще хлестали пули-ливни —  
нас  
с самых низов  
прибой-революция вбросила в Зимний  
с кличкой странной — ИЗО.  
Влетели, сея смех и крик,  
вы,  
Пунин,  
я  
и Ося Брик.  
И древних яркостью дразня,  
в бока дворца впиалась «мазня».  
Дивит покои царёвы и князьки  
наш  
далеко не царственный вид.  
Люстры —  
и то шарахались даже,  
глядя...  
хотя бы на вас, Давид:  
рукой  
в подрамниковой раме  
выводите Неву и синь,  
другой рукой —  
под ордерами  
расчеркиваетесь на керосин.  
Собрание!  
Митинг!  
Речью сотой,  
призвав на помощь крошки-руки,  
выхваливаете ком красоты  
на невозможном волашке.  
Ладно,  
а много ли толку тут?!  
Обычно  
воду в ступе толкут?!  
Казалось,  
что толку в Смольном?  
Митинги, вот и всё.  
А стали со Смольного вольными  
тысячи городов и сёл.  
Мы слыли говорунами  
на тему: футуризм,  
но будущее не нами ли  
сияет радугой риз!

[1922—1923?]

### ГАЗЕТНЫЙ ДЕНЬ

Рабочий  
утром  
глазает в газету.



Думает:

«Нам бы работёшку эту!

Дело тихое, и нету чище.

Не то что по кузницам отмахивать ручища.

Сиди себе в редакции в беленькой сорочке —

и гони строчки.

Нагнал,

расставил запятые да точки,

подписался,

под подпись закорючку,

и готово:

строчки растут как цветочки.

Ручки в брючки,

в стол ручку,

получил построчные —

и, ленивой ивой

склоняясь над кружкой,

дуй пиво».

В искоренение вредного убежденья

вынужден описать газетный день я.

Как будто

весь народ,

который

не поместился под башню Сухареву, —

пришел торговаться в редакционные коридоры.

Тыщи!

Во весь дух ревут.

«Где объявления?

Потеряла собачку я!»

Голосит дамочка, слезками пачкаясь.

«Караул!»

Отчаянные вопли прореяли.

«Миллиард?

С покойничка?

За строку нонпарели?»

Завжилотдел.

Не глаза — жжение.

Каждому сует какие-то опровержения.

Кто-то крестится.

Клянется крещеным лбом:

«Это я — настоящий Бим-Бом!»

Все стены уставлены какими-то дядьями.

Стоят кариатидами по стенкам голым.

Это «начинающие».

Помахивая статьями,

по дороге к редактору стоят частоколом.

Два.

Редактор вливает барином.

В два с четвертью

из барина,

как из пристяжной,

умученной выездом парным, —  
паром вздымается испарина.  
Через минуту  
из кабинета редакторского рёв:  
то ручкой по папке,  
то по столу бац ею.  
Это редактор,  
собрав бухгалтеров,  
потеет над самоокупацей.  
У редактора к передовице лежит сердце.  
Забудь!  
Про сальдо язычишкой треплет.  
У редактора —  
аж волос вылазит от коммерции,  
лепечет редактор про «кредит и дебет».  
Пока редактор завхоза ест —  
раз сто телефон вгрызается лаем.  
Это ставку учетверяет Мострест.  
И еще грозитя:  
«Удесятерю в мае».  
Наконец, освободился.  
Минуточек лишка...  
Врывается начинающий.  
Попробуй — выставь!  
«Прочтите немедля!  
Замечательная статьяшка»,  
а в статьешке —  
листов триста!  
Начинающего унимают диалектикой нечеловечьей.  
Хроникер врывается:  
«Там,  
в Замоскворечьи, —  
выловлен из Москвы-реки —  
живой гиппопотам!»  
Из РОСТА  
на редактора  
начинает литься  
сенсация за сенсацией,  
за небылицей небылица.  
Нет у РОСТА лучшей радости,  
чем всучить редактору невероятнейшей гадости.  
Извергая старательность, как Везувий и Этна,  
курьер врывается.  
«К редактору!  
Лично!»  
В пакете  
с надписью:  
— Совершенно секретно —  
повестка  
на прошлогоднее заседание публичное.  
Затем курьер,  
красный, как малина,  
от НКВД.

Кроет рьяно.  
 Передовик  
 президента Чжан Цзо-лина  
 спутал с гаолянном.  
 Наконец, библиограф!  
 Что бешеный вол.  
 Машет книжкой.  
 Выражается резко.  
 Получил на рецензию  
 юрист —  
 хохол —  
 учебник гинекологии  
 на древнееврейском!  
 Вокруг  
 за столами  
 или перьев скрежет,  
 или ножницы скрипят:  
 писателей режут.  
 Секретарь  
 у фельетониста,  
 пропотевшего до сорочки,  
 делает из пятисот —  
 полторы строчки.  
 Под утро стихает редакционный раж.  
 Редактор в восторге.  
 Уехал.  
 Уложено.  
 Но тут...  
 Самогоном упился метранпаж,  
 лишь свистят под ротационкой ноздри метранпажины.  
 Спит редактор.  
 Снится: Мострест  
 так высоко взвинтил ставки —  
 что на колокольню Ивана Великого влез  
 и хохочет с колокольной главки.  
 Просыпается.  
 До утра проспал без прóсыпа.  
 Ручонки дрожат.  
 Газету откроют.  
 Ужас!  
 Не газета, а оспа.  
 Шрифт по статьям расплылся икрою.  
 Из всей газеты,  
 как из моря риф,  
 выглядывает лишь —  
 парочка чых-то рифм.  
 Вид у редактора...  
 такой вид его,  
 что видно сразу —  
 нечему завидовать.

Если встретите человека белее мела,  
худющего,  
худей, чем газетный лист, —  
умозаключайте смело:  
или редактор  
или журналист.

[1923]

КОГДА ГОЛОД ГРЫЗ ПРОШЛОЕ ЛЕТО,  
ЧТО ДЕЛАЛА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ?

Все знают:  
в страшный год,  
когда  
народ (и скот оголодавший) дох,  
и ВЦИК  
и Совнарком  
скликали города,  
помочь старались из последних крох.  
Когда жевали дети глины ком,  
когда навоз и куст пошли на пищу люду,  
крестьяне знают —  
каждый исполком  
давал крестьянам хлеб,  
полям давал семсуду.  
Когда ж совсем неумоготу пришлось Поволжью —  
советским ВЦИКом был декрет по храмам дан:  
— Чтоб возвратили золото чинуши божьи,  
на храм помещиками собранное с крестьян. —  
И ныне:  
Волга ест,  
в полях пасется скот.  
Так власть,  
в гербе которой «серп и молот»,  
боролась за крестьянство в самый тяжкий год  
и победила голод.

КОГДА МЫ ПОБЕЖДАЛИ ГОЛОДНОЕ ЛИХО,  
ЧТО ДЕЛАЛ ПАТРИАРХ ТИХОН?

«Мы не можем позволить  
изъятие из храмов».

(Патриарх Тихон)

Тихон патриарх,  
прикрывши пузо рясой,  
звонил в колокола по сытым городам,  
ростовщиком над золотыми тряся:  
«Пускай, мол, мрут,  
а злата —  
не отдам!»

Чесала языком их патриаршья милость,  
и под его христолюбивый звон  
на Волге дох народ,  
и кровь рекою лилась —  
из помутившихся  
на паперть и амвон.  
Осиротевшие в голодных битвах ярых!  
Родных погибших вспоминая лица,  
знайте:  
Тихон  
патриарх  
благословлял *убийцу*.  
За это  
власть Советов,  
вами избранные люди, —  
господина Тихона судят.

[1923]

## О ПАТРИАРХЕ ТИХОНЕ. ПОЧЕМУ СУД НАД МИЛОСТЬЮ ИХНЕЙ?

### РАНЫШЕ

Известно:  
царь, урядник да поп  
друзьями были от рожденья по гроб.  
Урядник, как известно,  
наблюдал за чистотой телесной.  
Смотрел, чтоб мужик комолой  
с голодухи не занялся крамолой,  
чтобы водку дул,  
чтобы шапку гнул.  
Чуть что:  
— Попрошу-с лечь... —  
и пошел сечь!  
Крестьянскую спину разукрасили влоск.  
Аж в российских лесах не осталось розг.  
А поп, как известно (урядник духовный),  
наблюдал за крестьянской душой греховной.  
Каркали с амвонов попы-вороны:  
— Расти, мол, народ царелюбивый и покорный! —  
Этому же и в школе обучались дети:  
«Законом божьим» назывались глупости эти.  
Учил поп, чтоб исповедывались часто.  
Крестьянин поисповедуется,  
а поп —  
в участок.  
Закрывшись ряской, уряднику шепчет:  
— Иванов накрамолил —  
дуй его крепче! —  
И шел по деревне гул  
от сворачиваемых крестьянских скул.

Приведут деревню в надлежащий вид,  
кончат драть ее —  
поп опять с амвона голосит:  
— Мир вам, братие! —  
Даже в царство небесное провожая с воем,  
покойничка вели под поповским конвоем.  
Радовался царь.  
Благодарен очень им —  
то орденом пожалует,  
то крестом раззолóченным.  
Под свист розги,  
под поповское пение,  
рабом жила российская паства.  
Это называлось: единение  
церкви и государства.

## ТЕПЕРЬ

Царь российский, финляндский, польский,  
и прочая, и прочая, и прочая —  
лежит где-то в Екатеринбурге или Тобольске:  
попал под пули рабочие.  
Революция и по урядникам  
прошла, как лиса по курятникам.  
Только поп  
все еще смотрит, чтоб крестили лоб.  
На невежестве держалось Николаево царство,  
а за нас нечего поклоны класть.  
Церковь от государства  
отделила рабоче-крестьянская власть.  
Что ж,  
если есть еще дураки несчастные,  
молитесь себе на здоровье!  
Ваше дело —  
частное.  
Говоря короче,  
денег не дадим, чтоб люд морочить.  
Что ж попы?  
Смирнись тихо?  
Власть, мол, от бога?  
Наоборот.  
Зовет патриарх Тихон  
на власть Советов восстать народ.  
За границу Тихон протягивает ручку,  
зовет назад белогвардейскую кучку.  
Его святейшеству надо,  
чтоб шли от царя рубли да награда.  
Чтоб около помещика-вора  
кормилась и поповская свора.  
Шалишь, отец патриарше, —  
никому не отдадим свободы нашей!

За это  
власть Советов,  
вами избранные люди,  
за это —  
патриарха Тихона судят.

[1923]

## МЫ НЕ ВЕРИМ!

Тенью истемня весенний день,  
выклеен правительственный бюллетень.

Нет!  
Не надо!  
Разве молнии велишь  
не литься?

Нет!  
не оковать язык грозы!  
Вечно будет  
тысячестраницый  
грохотать  
набатный  
ленинский язык.

Разве гром бывает немостою болен?!  
Разве сдержишь смерч,  
чтоб вихрем не кипел?!

Нет!  
не ослабеет ленинская воля  
в миллионосиальной воле РКП.  
Разве жар  
такой  
термометрами меряется?!

Разве пульс  
такой  
секундами гудит?!

Вечно будет ленинское сердце  
клокотать  
у революции в груди.

Нет!  
Нет!  
Не-е-т...  
Не хотим,  
не верим в белый бюллетень.  
С глаз весенних  
сгинь, навязчивая тень!

[1923]

## ТРЕСТЫ

В Москве  
редкое место —  
без вывески того или иного треста.

Сто очков любому вперед дадут —  
у кого семейное счастье худо.  
Тресты живут в любви,  
в ладу  
и супружески строятся друг против друга.  
Говорят:  
меж трестами неурядицы. —  
Ложь!  
Треста  
с трестом  
водой не разольешь.  
На одной улице в Москве  
есть  
(а может нет)  
такое место:  
стоит себе тихо «хвостотрест»,  
а напротив —  
вывеска «копытотреста».  
Меж трестами  
через улицу,  
в служении лют,  
весь день суетится чиновный люд.  
Я теперь хозяйством обзавожусь немножко.  
(Купил уже вилки и ложки.)  
Только вот что:  
беспокоит всякая крошка.  
После обеда  
на класенке —  
сплошные крошки.  
Решил купить,  
так или иначе,  
для смахивания крошек  
хвост телячий.  
Я не спекулянт —  
из поэтического теста.  
С достоинством влазю в дверь «хвостотреста».  
Народищу — уйма.  
Просто неопишимо.  
Стоят и сидят  
толпами и гуцами.  
Хлопают и хлопают дверные створки.  
Коридор —  
до того забит торгующими,  
что его  
не прочистишь цистерной касторки.  
Отчаявшись пробиться без указующих фраз,  
спрашиваю:  
— Где здесь на хвосты ордера? —  
У вопрошаемого  
удивление на морде.  
— Хотите, — говорит, — на копыто ордер? —  
Я к другому —  
невозмутимо, как день вешний:



— Где здесь хвостики?  
 — Извините, — говорит, — я не здешний. —  
 Подхожу к третьему  
 (интеллигентный быдто) —  
 а он и не слушает:  
 — Угодно-с копыто?  
 — Да ну вас с вашими копытами к маме,  
 подать мне сюда заведующего хвостами! —  
 Врываюсь в канцелярию:  
 пусто, как в пустыне,  
 только чей-то чай на столике стынет.  
 Под вывеской —  
 «без доклада не лезьте»  
 читаю:  
 «Заведующий принимает в «копытотресте». —  
 Взбесился.  
 Выбежал.  
 Во весь рот  
 гаркнул:  
 — Где из «хвостотреста» народ? —  
 Сразу завопило человек двести:  
 — Не знает.  
 Бедненький!  
 Они посредничают в «копытотресте»,  
 а мы в «хвостотресте»,  
 по копыту посредники.  
 Если вам по хвостам —  
 идите туда:  
 они там.  
 Перейдите напротив  
 — тут мелко —  
 спросите заведующего  
 и готово — сделка.  
 Хвост через улицу перепрут рысью  
 только 100 процентов с хвоста —  
 за комиссию. —  
 Я  
 способ прекрасный для борьбы им выискал:  
 как-нибудь  
 в единый мах —  
 с треста на трест перевесить вывески,  
 и готово:  
 все на своих местах.  
 А чтоб те или иные мошенники  
 с треста на трест не перелетали птичкой,  
 посредников на цепочки,  
 к цепочке ошейники,  
 а на ошейнике —  
 фамилия  
 и трестова кличка.

[1923]

## СТРОКИ ОХАЛЬНЫЕ ПРО ВАКХАНАЛИИ ПАСХАЛЬНЫЕ

(шутка)

Известно:  
 буржуй вовсю жрет.  
 Ежедневно по поросенку заправляет в рот.  
 А надоест свиней в животе пасти —  
 решает:  
 — Хорошо б попостить! —  
 Подают ему к обеду да к ужину  
 то осетриницу,  
 то севрюжину.  
 Попостит —  
 и снова аппетит является:  
 буржуй разговляется.  
 Ублажается куличами башенными  
 вперекладку с яйцами крашеными.  
 А в заключение —  
 шампанский тост:  
 — Да здравствует, мол, господин Христос! —  
 А у пролетария стоял столетний пост.  
 Ел всю жизнь селедкин хвост.  
 А если и теперь пролетарий говеет —  
 от говений от этих старьем веет.  
 Чем ждать Христов в посте и вере —  
 религиозную рухлядь отбрось гневно  
 да так заработай —  
 чтоб по крайней мере  
 разговляться ежедневно.  
 Мораль для пролетариев выведу любезно:  
 Не дело говеть бедным.  
 Если уж и буржую говеть бесполезно,  
 то пролетарию —  
 просто вредно.

[1923]

## КРЕСТЬЯНИН, — ПОМНИ О 17-М АПРЕЛЯ!

Об этом весть  
 до старости древней  
 храните, села,  
 храните, деревни.  
 Далёко,  
 на Лене,  
 рабочий — забитый в рудник,  
 над жилами золота ник.  
 На всех бы хватило —  
 червонцев немало.  
 Но всё  
 фабриканта рука отнимала.  
 И вот,  
 для борьбы с их уловкою ловкой

рабочий  
                   на вора пошел забастовкой.  
 Но стачку  
                   царь  
                           не спускает даром,  
 над снегом  
                           встал  
                                   за жандармом жандарм.  
 И кровь  
                   по снегам потекла,  
                                   по белым, —  
 жандармы  
                           рабочих  
                                   смирнили расстрелом.  
 Легли  
                   и не встали рабочие тыщи.  
 Легли,  
                   и могилы легших не сыщешь.  
 Пальбу разнесло,  
                           по тундрам разухало.  
 Но искра восстанья  
                           в сердцах  
                                   не потухла.  
 От искорки той,  
                           от мерцанья старого  
 заря сегодня —  
                           Октябрьское зарево.  
 Крестьяне забыли помещичьи плены.  
 Кто первый восстал?  
                           Рабочие Лены!  
 Мы сами хозяева земли деревенской.  
 Кто первый восстал?  
                           Рабочий ленский!  
 Царя прогнали.  
                           Порфиру в клочья.  
 Кто первый?  
                           Ленские встали рабочие!  
 Рабочий за нас,  
                           а мы —  
                                   за рабочего.  
 Лишь этот союз —  
                           республик почва.  
 Деревня!  
                   В такие великие дни  
 теснее ряды с городами сомкни!  
 Мы шли  
                   и идем  
                           с богатеями в бой —  
 одною дорогой,  
                           одною судьбой.  
 Бей и разруху,  
                           как бил по барам, —  
 двойным,  
                           воедино слитым ударом!

[1923]

## 17 АПРЕЛЯ

Мы  
о царском плене  
забыли за 5 лет.  
Но тех,  
за нас убитых на Лене,  
никогда не забудем.  
Нет!  
Россия вздрогнула от гнева злобного,  
когда  
через тайгу  
до нас  
от ленского места лобного —  
донесся расстрела гул.  
Легли,  
легли Октября буреветники,  
глядели Сибири снега:  
их,  
безоружных,  
под пуль песенки  
топтала жандарма нога.  
И когда  
фабрикантище ловкий  
золотые  
горстями загребал,  
липла  
с каждой  
с пятирублевки  
кровь  
упрятанных тундрам в гроба.  
Но напрасно старался Терешенко  
смыть  
восставших  
с лица рудника.  
Эти  
первые в троне трещинки  
не залижет никто.  
Никак.  
Разгуделась весть о расстреле,  
и до нынче  
гудит заряд,  
по российскому небу растрéлясь,  
Октябрем разгорелась заря.  
Нынче  
с золота смыты пятна.  
Наши  
тыщи сияющих жил.  
Наше золото.  
Взяли обратно.  
Приказали:  
— Рабочим служи! —

Мы  
 сомкнулись красными ртами.  
 Быстра шагов краснофлагох гряда.  
 Никакой не посмеет ротмистр  
 сыпать пули по нашим рядам.  
 Нынче

течем мы.

Красная лава.  
 Песня над лавой  
 свободная пенится.

Первая  
 наша  
 благодарная слава  
 вам, Ленцы!

[1923]

### НАШЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Еще старухи молятся,  
 в богомольном изгорбься иге,  
 но уже

шаги комсомольцев  
 гремят о новой религии.  
 О религии,  
 в которой

нам  
 не бог начертал бег,  
 а, взгудев электромоторы,  
 миром правит сам  
 человек.

Не будут  
 вперекор умам  
 дебоширить ведьмы и Вии —  
 будут  
 даже грома́  
 на учете тяжелой индустрии.  
 Не господу-богу  
 сквозь воздух

разгонять  
 солнечный скат.

Мы сдадим  
 и луны,  
 и звезды

в Главсиликат.  
 И не будут,  
 уму в срам,  
 люди от неба зависеть —  
 мы ввинтим  
 лампы «Осрам»

небу  
    в звездные выси.  
Не нам  
    писанья священные  
изучать  
    из-под попшей палки.  
Мы земле  
    дадим освящение  
лучом космографий  
    и алгебр.  
Вырывай у бога вожжи!  
Что морочить мир чудесами!  
Человечьи законы  
    — не божьи!—  
на земле  
    установим сами.  
Мы  
    не в церковке,  
    тесной и грязненькой,  
будем кукситься в праздники наши.  
Мы  
    свои установим праздники  
и распряднуем в грозном марше.  
Не святить нам столы усеянные.  
Не творить жратвы обряд.  
Коммунистов воскресенье —  
25-е октября.  
В этот день  
    в рост весь  
меж  
    буржуазной паники  
раб рабочий воскрес,  
воскрес  
    и встал на́ ноги.  
Постоял,  
    посмотрел  
    и пошел,  
всех религий развезя ига.  
Только вьется красный шелк,  
да в руке  
    сияет книга.  
Пусть их,  
    свернувшись в кольца,  
бьют церквами поклон старухи.  
Шагайте,  
    да так,  
    комсомольцы,  
чтоб у неба звенело в ухе!

[1923]

## ВЕСЕННИЙ ВОПРОС

Страшное у меня горе.  
 Вероятно —  
                                 лишусь сна.  
 Вы понимаете,  
                                 вскоре  
 в РСФСР  
                                 придет весна.  
 Сегодня  
                                 и завтра  
   и веков испокон  
 шатается комната —  
                                 солнца пропойца.  
 Невозможно работать.  
                                 Определенно обеспокоен.  
 А ведь откровенно говоря —  
   совершенно не из-за чего беспокоиться.  
 Если подойти серьезно —  
   так-то оно так.  
 Солнце посветит —  
   и пройдет мимо.  
 А вот попробуй —  
   от окна отяни kota.  
 А если и животное интересуется улицей,  
   то мне  
   это —  
   просто необходимо.  
 На улицу вышел  
                                 и встал в лени я,  
 не в силах...  
                                 не сдвинуть с места тело.  
 Нет совершенно  
                                 ни малейшего представления,  
 что ж теперь, собственно говоря, делать?!  
 И за шиворот  
                                 и по носу  
   каплет безбожно.  
 Слушаешь.  
                                 Не смахиваешь.  
   Будто стих.  
 Юридически —  
                                 куда хочешь идти можно,  
 но фактически —  
   сдвинуться  
   никакой возможности.  
 Я, например,  
                                 считаюсь хорошим поэтом.  
 Ну, скажем,  
                                 могу  
   доказать:  
   «самогон — большое зло».  
 А что про это?  
                                 Чем про это?







Хлеб не лезет в рот.  
 Должны добыть сами.  
 Поп врет  
 о насыщении чудесами.  
 Не нам поп — няня.  
 Христу отставку вручите.  
 Наш наставник — знание,  
 книга —  
                   наш учитель.  
 Отбрось суеверий сеянье.  
 Отбрось религий обряд.  
 Коммуны воскресенье —  
 25 октября.  
 Наше место не в церкви грязненькой.  
 На улицы!  
                   Плакат в руку!  
 Над верой  
                   в наши праздники  
 огнем рассияй науку.

[1923]

### МАРШ КОМСОМОЛЬЦА

Комсомолец —  
                   к ноге нога!  
 Плечо к плечу!  
                   Марш!  
 Товарищ,  
                   тверже шагай!  
 Марш греми наш!  
 Пусть их скудит дядьё! —  
 Наши ряды юны.  
 Мы  
                   наверно войдем  
 в самый полдень коммуны.

Кто?  
                   Перед чем сник?  
 Мысли удар дай!  
 Врежься в толщъ книг.  
 Нам  
                   нет тайн.  
 Со старым не кончен спор.  
 Горят  
                   глаз репьи́.  
 Мускул  
                   шлифуй, спорт!  
 Тело к борьбе крепи.  
 Морем букв,  
                   числ  
 плавай рыбой в воде.



Каб не мужик, тогда бы  
разрезало по пояс.

Уже исчез за звезды дым,  
мужик и баба скрылись.  
Мы дань герою воздадим,  
над буднями воскрылась.

Хоть из народной гущи,  
а спас средь бела дня.  
Да здравствует торгующий  
бараниной средняк!

Да светит солнце в темноте!  
Горите, звезды, ночью!  
Да здравствуют и те, и те —  
и все иные прочие!

[1923]

## 1-Е МАЯ

Свети!

Вовсю, небес солнцеглазь!

Долой —

толпу облаков белоручек!

Радуйтесь, звезды, на митинг вылазя!

Рассейтесь буржуями, тучные тучи!

Особенно люди.

Рабочий особенно.

Вылазь!

Сюда из теми подвальной!

Что стал?

Чего глядишь исподлобленно?!

Иди!

Подходи!

Вливайся!

Подваливай!

Манометры мозга!

Сегодня

меряйте,

сегодня

считайте, сердечные счетчики, —

разветривается ль восточный ветер?!

Вбирает ли смерч рабочих точки?!

Иди, прокопчѣнный!

Иди, просмолѣнный!

Иди!

Чего стоишь одинок?!

Сегодня

150 000 000

шагнули —

300 000 000 ног.

Пой!  
     Шагай!  
         Границы провалятся!  
 Лавой распетой  
         на старое ляг!  
*1 500 000 000 пальцев,*  
 крепче,  
         выше маковый флаг!  
 Пение вспень!  
         Расцепи цепенение!  
 Смотри —  
         отсюда,  
                 видишь —  
                                 тут —  
*12 000 000 000 сердцебиений —*  
 с вами,  
         за вас —  
                 в любой из минут.  
 С нами!  
         Сюда!  
         Кругосветная масса,  
 э-С-э-С-э-С-э-Р ручища —  
                                 вот вам!  
 Вечным  
         единым маем размайся —  
*1-го Мая,*  
         2-го  
                 и 100-го.

[1923]

## 1-Е МАЯ

Поэты —  
         народ дошлый.  
 Стих?  
         Изволь.  
         Только рифмы дай им.  
 Не говорилось пошлостей  
 больше,  
         чем о мае.  
 Существительные: Мечты.  
         Грёзы.  
         Народы.  
         Пламя.  
         Цветы.  
         Розы.  
         Свободы.  
         Знамя.  
 Образы: Майскою —  
         сказкою.



Да здравствует калькуляция силёнок мира,  
 Да здравствует ум!  
 Ум,  
 из зим и осеней  
 умеющий  
 во всегда  
                                 высинить май.  
 Да здравствует деланье мая —  
 искусственный май футуристов.  
 Скажешь просто,  
   скажешь коряво —  
 и снова  
                                 в паре поэтических шор.  
 Трудно с будущим.  
   За край его  
 выдернешь —  
   и то хорошо.

[1923]

## 1-Е МАЯ

Мы!  
                                 Коллектив!  
   Человечество!  
   Масса!  
 Довольно маяться.  
   Маем размайся!  
 В улицы!  
                                 К ноге нога!  
 Всякий лед  
   под нами  
   ломайся!  
 Тайте  
                                 все снега!  
**1 мая**  
                                 пусть  
   каждый шаг,  
   в булыжник ударенный,  
 каждое радио,  
   Парижам отданное,  
 каждая песня,  
   каждый стих —  
 трубит  
                                 международный  
 марш солидарности.  
**1 мая.**  
                                 Еще  
   не стерто с земли  
   имя  
   последнего хозяина,      последнего господина.





Ей —  
                   танков непробиваемая толщъ,  
 ей —  
                   миллиарды франков и рублей.  
 И,  
           наконец,  
                           карандашей,  
   перьев лесá  
 ощетиня в честь ей,  
 лили  
           тысячи буржуазных писак —  
 деготь на рабочих,  
                           на буржуев елей.  
 Мы в гриву хлестали,  
 мы били в лоб,  
                           мы плыли кровью-рекой.  
 Мы взяли  
                           твердыню твердынь —  
   Перекоп  
 чуть не голой рукой.  
 Мы силой смирили силы свирепость.  
 Избита,  
           изгнана стая звёрья.  
 Но мыслей ихних цела крепость,  
 стоит,  
           щетинит штыки-перья.  
 Пора последнее оружие отковать.  
 В руки перо берем.  
 Пора —  
           самим пером атаковать!  
 Пора —  
           самим защищаться пером.  
 Исписывая каракулю листов клочья,  
 с трудом вытягивая мыслей ленты, —  
 ночами скрипят корреспонденты-рабочие,  
 крестьяне-корреспонденты.  
 Мы пишем,  
           горесть рабочих вобрав,  
 нас затмит пустомелей лак ли?  
 Мы знаем:  
           миллионом грядущих правд  
 разрастутся наши каракули.  
 Враг рабочим отомстить рад.  
 У бюрократов —  
           волнение.  
 Сыпет  
           на рабочих  
                           совбюрократ  
 доносы  
           и увольнения.  
 Видно, верно бьем,  
                           видно, бить пора!





забудь  
                   о всепрощеньи-воске.  
 Приконченный  
                   фашистской шайкой воровско́й,  
 в последний раз  
                   Москвой  
                                   пройдет Воровский.  
 Сколько не станет...  
                   Сколько не стало...  
 Сколькох — в ключья...  
                   Сколькох — в дым...  
 Где б ни сдали.  
                   Чья б ни сдала  
 Мы не сдали,  
                   мы не сдадим.  
 Сегодня  
                   гнев  
                   скругли  
                                   в огромный  
   бомбы мяч.  
 Сегодня  
                   голоса́  
                                   размолний штычьим блеском.  
 В глазах  
                   в капиталистовых маячь.  
 Чертись  
                   по королевским занавескам.  
 Ответ  
                   в мильон шагов  
                                   пошли  
   на наглость нот.  
 Мильонную толпу  
                   у стен кремлевских вызмей.  
 Пусть  
                   смерть товарища  
                                   сегодня  
   подчеркнет  
 бессмертье  
                   дела коммунизма.

[1923]

ЭТО ЗНАЧИТ ВОТ ЧТО!

Что значит,  
                   что г-н Кёрзон  
 разразился грозою нот?  
 Это значит —  
                   чтоб тише лез он,  
 крепи  
                   воздушный  
                                   флот!















О ТОМ,  
КАК У КЕРЗОНА  
С ОБЕДОМ  
РАЗРАСТАЛАСЬ  
АППЕТИТОВ ЗОНА

*(фантастическая, но возможная история)*

Керзон разразился ультиматумом.

Не очень ярким,

так...

матовым.

«Чтоб в искренности СССР

убедиться воочию,

возвратите тралер,

который скрали,

и прочее, и прочее, и прочее...»

Чичерин ответил:

«Что ж,

берите,

ежели вы

в просьбах своих

так умеренны

и вежливы».

А Керзон

взбесился что было сил.

«Ну, — думает, —

мало запросил.

Ужотко

загну я им нотку!»

И снова пастью ошеренной

Керзон

лезет на Чичерина.

«Каждому шпиону,

который

кого-нибудь

когда-нибудь прёдал,

уплатить по 30

и по 100 тысяч.

Затем

пересмотреть всех полпредов.

И вообще...

самим себя высечь».

Пока

официального ответа нет.

Но я б

Керзону

дал совет:

— Больно мало просите что-то.

Я б

загнул

такую ноту.





Чай, всем  
                   в глаза  
                                   бросалось вам  
 в газетах  
                   слово  
                           «смычка»?  
 — Сомкнись с селом! — сказал Ильич,  
 и город  
                   первый  
                           шествует.  
 Десятки городов  
                           на клич  
 над деревнями  
                           шефствуют.  
 А ты  
                   в ответ  
                           хлеба рожай,  
 делись им  
                   с городами!  
 Учись —  
                   и хлеба урожай  
 учетверишь  
                   с годами.  
 [1923]

## ГОРЬ

Арбат толкучкою давил  
 и сбоку  
                   и с хвоста.  
 Невмоготу —  
                           кряхтел да выл  
 и крикнул извозца.  
 И варуг  
                   такая стала тишь.  
 Куда девалась скорбь?  
 Всё было как всегда,  
                           и лишь  
 ушел извозчик в горб.  
 В чуть видный съезжился комок,  
 умерен в вёрстах езд.  
 Он не мешал,  
                           я видеть мог  
 цветущее окрест.  
 И свет  
                   и радость от него же  
 и в золоте Арбат.  
 Чуть плелся конь.  
                           Дрожали вожжи.  
 Извозчик был горбат.  
 [1923]

## КОМИНТЕРН

«Зловредная организация, именующая  
себя III Интернационалом».

*Из ноты Керзона*

Глядя  
в грядущую грозу,  
валы времен, в грядущие грома́,  
валы пространств грома,  
рули  
мятежных дней  
могуче сжав  
и верно, —  
плывет  
Москвой  
дредноут Коминтерна.  
Буржуи мира,  
притаясь  
по скрывшим окна шторам,  
дрожат,  
предчувствуя  
грядущих штурмов шторм.  
Слюною ног  
в бессильи  
иссякая,  
орут:  
— Зловредная,  
такая, рассякая! —  
А рядом  
поднят ввысь  
миллион рабочих рук,  
гудит  
сердец рабочих  
миллионный стук, —  
сбивая  
цепь границ  
с всего земного лона,  
гудит,  
гремит  
и крепнет  
голос миллионный:  
— Ты наша!  
Стой  
на страже красных дней.  
Раскатом голосов  
покрой Керзоньи бредни!  
Вреди,  
чтоб был  
твой вред  
всех вредов повредней,  
чтоб не было  
организации зловредней.

[1923]





Чего ж  
                   в этом грязном,  
   в тесном увяз?  
 В новый мир!  
                   Завоюй воздушный.  
 По норме  
                   аршинной  
   ютитесь нóрами.  
 У мертвых —  
                   и то  
   помещение блéстче.  
 А воздуху  
                   кто установит нормы?  
 Бери  
                   хоть стоаршинную площадь.  
 Мажешься,  
                   сáлишься  
   в земле пропылённой,  
 с глоткой  
                   будто пылью пропилен.  
 А здесь,  
                   хоть все облетаешь лона,  
 чист.  
                   Лишь в солнце  
   лучи  
   окропили.  
 Вы рубите горы  
                   и скат многолесый,  
 мостом  
                   нависаете  
   в мелочь-ручьи.  
 А воздух,  
                   воздух — сплошные рельсы.  
 Луны́  
                   и солнца —  
   рельсы-лучи.  
 Горд человек,  
                   человечество пыжится:  
 — Я, дескать,  
                   самая  
   главная ижица.  
 Вокруг  
                   меня  
   вселенная движется. —  
 А в небе  
                   одних  
   этих самых Марсов  
 такая  
                   сплошная  
   огромная масса,  
 что все  
                   миллиарды  
   людыя человеческого  
 в сравнении с ней  
                   и насчитывать нечего.

Чего  
     в ползках,  
                     в шажочках увяз,  
 чуть движешь  
                     пятипудовики ту́шины?  
 Будь аэрокрылым —  
                     и станет  
                                     у вас  
 мир,  
     которому  
                     короток глаз,  
 все стены  
                     которого  
                                     в ветрах развоздушены.  
 [1923]

## ИТОГ

Только что  
                     в окошечный  
                                     в кусочек прокопчённый  
 вглядывались,  
                     жда рассветный час.  
 Жили  
     черные,  
                     к земле прижавшись черной,  
 по фабричным  
                     по задворкам  
                                     волочась.  
 Только что  
                     корявой сошкой  
                                     землю рыли,  
 только что  
                     проселками  
                                     плелись возком,  
 только что...  
                     куда на крыльях! —  
 еле двигались  
                     шажочком  
                                     да ползком.  
 Только что  
                     Керзоновы угрозы пролетали.  
 Только что  
                     приказ  
                                     крылатый  
   дан:  
 — Пролетарий,  
 на аэроплан! —  
 А уже  
     гроши за грошами  
 слились  
                     в мощь боевых машин.  
 Завинти винты  
                     и, крошá ими